

Елисей был бы весьма
удивлён, если бы ему
сказали, что он живёт
не свою жизнь
или что он
несчастен. Страница 66

Анатолий Андреев
За буйки (сборник)

«Автор»

2012

Андреев А. Н.

За буйки (сборник) / А. Н. Андреев — «Автор», 2012

«За буйки» – сборник рассказов Анатолия Андреева, рассчитанный на читателей разных уровней подготовленности и запросов. Автора прежде всего интересуют темы, связанные с природой человека, многие аспекты которой часто воспринимаются как табуированные. Пересекать запретную черту (заплывать «за буйки») для писателя означает называть вещи своими именами. Отношения мужчины и женщины, давление социума на человека, проблемы творчества – таковы основные тематические блоки сборника. Андреев не изменяет себе: игровое начало, органично связанное с эротическим и интеллектуальным, определяет стиль малой прозаической формы.

© Андреев А. Н., 2012

© Автор, 2012

Содержание

I. У каждого своя война	5
У каждого своя война	5
За буйки	10
Любовь	18
Звездопад	23
Загадочная улыбка женщины	26
Авария	32
Два дня и две ночи	39
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Анатолий Андреев За буйки Сборник рассказов

І. У каждого своя война

У каждого своя война

– Война была не такая, война была другая, – капризно твердила пышная Людмила Дорофеевна, дама представительная, с манерами, целомудренно оправляя оборки платья в цветок.

– Позвольте с вами не согласиться, – сухо кашляя в кулачок, сопротивлялся сублимный Орфей Иванович. При покашливании на левой стороне его узкой, но выпуклой груди со сдержанным достоинством позванивали густо посаженные медали, скромно уступившие место в первой – верхней – шеренге выразительному ордену (второй орден горячей звездой одиноко распластался справа).

9 мая 1975 года, в День 30-летия Великой Победы, brave Орфей Иванович заглянул к Людмиле Дорофеевне с букетом тюльпанов и с не вполне ему самому ясным, однако же достаточно определенным намерением. Праздник придавал уверенности бывшему капитану-артиллеристу, а ныне вдовцу и преподавателю музыкального училища по классу кларнета и флейты.

Дело происходило давно, в Таджикистане, в Ленинабаде, городе Ленина на Сыр-Дарье, – древнем городе, который, по преданию, завоевал сам Александр Македонский. Героев рассказа нет уже в живых, но я, любимый ученик Орфея Ивановича, исполнявший самые ответственные партии в оркестре под его руководством, отчетливо помню облик моих невыдуманных персонажей, их искренние интонации, залитый солнцем среднеазиатский сухой май и свое первое тяжелое недоумение, так усложнившее мою до того беспечную молодую жизнь.

... Цветы Людмила Дорофеевна поставила в вазу, воодрузив ее в центр овального стола; при этом она, походя, ткнув холемым пальцем большую кнопку, выключила черно-белый телевизор «Горизонт», по которому звучали колючие марши и показывали документальные кадры военного времени. Советские войска непрерывно побеждали врага на всех фронтах, и собирались делать это весь день – и вдруг наступила, казалось бы, мирная тишина. В этот момент она и произнесла свою простую фразу про «другую войну», так задевшую Орфея Ивановича. Очевидно, поэтому она повторила ее, издевательски не поменяв ни слова.

– Вы ведь водку пьете? Извините, я не держу в доме водки, – добавила хозяйка.

– Спасибо, я не пью водки, гм-гм, с некоторых пор. Я захватил хорошее вино, если вы не возражаете.

На этикетке крепленого марочного вина «Ганчи» медалей было больше, чем на груди скромного, однако довольно решительно настроенного гостя.

Откупорив бутылку с вином, Орфей Иванович разлил его в бокалы – почти до краев. Людмила Дорофеевна воспитанно не подала виду, но как-то удивительно тонко, едва ли не кружевами и манжетами, дала понять, что она не одобряет такие широкие, практически варварские жесты.

– За Победу, за Великую Победу! – неуклюже вставая, сказал Орфей Иванович, игнорируя нюансы ее поведения, от которых в любое другое время он получал ни с чем не сравнимое удовольствие, и вытянул вино до конца большими громкими глотками. Людмила Дорофеевна не притронулась к бокалу, даже не пригубила.

– Так какая же была война? – вежливо поинтересовался раненый в ногу и контуженный капитан, дошедший до Берлина, но оказавшийся потом в Средней Азии – за то, что он когда-то высказал свое мнение о войне и о знаменитом генерале (капитан назвал его «людоедом» и «фашистом») в кругу подвыпивших, но весьма бдительных однополчан. Кроме того, ему припомнили, что он обучался игре на кларнете у специалиста, закончившего Венскую консерваторию. Специалиста отправили на Колыму, а его любимого ученика Орфея, коренного минчанина, – туда, где потеплее, в Среднюю Азию.

– Я всю войну провела в городе Белая Церковь, что на Украине, – начала Людмила Дорофеевна явно с намерением выговориться и убедить, неизвестно в чем, неизвестно чему сопротивлявшегося гостя.

– Вы были под оккупацией?

– Не сказала бы.

– Но ведь немцы захватили город?

– Они вошли туда и без наглости расположились в домах мирных жителей, никого особо не стесняя.

– Так-так, – сказал капитан и прошелся по комнате, слегка приволакивая ногу. При этом медали на его груди зазвенели вызывающе, и даже саркастически. – И что же делали немцы в городе Белая Церковь?

– Они не делали ничего плохого.

– Они никого не убивали?

– Что вы?! – изумилась Людмила Дорофеевна. – Они нам помогали.

Капитан воинственно прошелся в другой конец комнаты. Бряцающие медали уже не скрывали гнева и раздражения.

– Да не мельтешите вы перед глазами, ей-Богу, сядьте, я вам сейчас все расскажу.

Орфей Иванович присел на краешек стула воспитанным истуканом. Хозяйка налила ему вина в бокал – ровно до половины, как и полагается в приличных домах и компаниях. Он не шелохнулся.

Людмила Дорофеевна отпила маленький глоток вина и продолжала:

– В доме моего отца, репрессированного большевиками за то, что он был священником и сыном священника, – доме большом, с прекрасным земельным участком, – встал на постой немецкий офицер с денщиком.

Орфей Иванович мрачно смотрел на свой бокал.

– Они не тронули иконы в красном углу. И мне любезно предложили лучшую комнату, заметьте.

– Сначала вероломно напали на нашу страну, потом вломились в ваш дом, а потом вам предложили комнату в вашем же доме? Сразу видно: культурные люди.

– Не будьте таким наивным и занудным. Мужчины всегда воюют, а военным надо было где-то жить. Так было всегда, во все времена. Но офицер с денщиком вели себя вежливо, не позволяли себе никакого хамства, всегда «битте» и «данке шен». У обер лейтенанта были до блеска начищенные сапоги, великолепный одеколон, гладко выбритое, ухоженное лицо, голубые глаза. Как у вас. Он вообще чем-то напоминал вас. Вы знаете, он обращал на себя внимание. Однажды, когда я слушала по радио сводку Совинформбюро, – да, да, я легкомысленно нарушила строгий запрет – в комнату ко мне постучался офицер, герр обер-лейтенант, звали которого, дай Бог памяти...

– Ганс. Или Фриц. Что, впрочем, одно и то же.

– Не ёрничайте, Орфей Иванович. Вам это не идет. Его звали Рихард.

– А зачем он постучался в вашу комнату?

– Что за вопрос?! Надеюсь, это не пошлый намек? Не помню уже. Так вот. Со страху я выключила радиоприемник, но оставила его на прежней, московской, волне. Он вошел, при-

стально посмотрел на шкалу, – и сделал вид, будто не заметил, что чёрная стрелочка предательски застыла на запретной точке. Он, конечно, обо всем догадался. Вообще, он вел себя очень прилично, хотя, кажется, был ко мне равнодушен.

– За победу над фашистской Германией, нашим злейшим врагом, – сказал Орфей Иванович и залпом выпил вино. Людмила Дорофеевна вновь проигнорировала его тост.

– А его денщик, представляете, постоянно насвистывал арии из опер. Он знал весь мировой репертуар и обожал Чайковского. Кроме того, он бесподобно ухаживал за цветами. Такого цветника я не видела в своем доме никогда. Боже мой, какие он вырастил розы! Уму непостижимо!

Орфей Иванович налил себе бокал до краев.

– А когда немцы вынуждены были отступать, то денщик аккуратно собрал вещи и целый день, насвистывая без единой нотки фальши и жмурясь от солнца, сажал морковку в огороде – под линеечку, строго по линии. Забивал колышки, натягивал веревочку – и только потом сеял семена. «Зачем вы это делаете?» – спросила я, разумеется, по-немецки (в школе мы все учили немецкий). «Ведь вы же отступа..., простите, уходите. Вы не увидите результатов своего труда». Он перестал свистеть, посмотрел на меня и ответил: «Но ведь вы же не уходите, фрау Людмила. Здесь будут жить хорошие люди. Я хочу, чтобы после нас остались лучшие воспоминания». Представляете? Потом пришли солдаты Красной Армии в грязных сапогах и растоптали весь посев морковки. Нет, не весь, кое-что выросло, и морковка оказалась чудесной, просто чудесной. А по телевизору и в кино немцев представляют варварами, дураками и садистами. Это вранье, и больше ничего. Меня это возмущает. Я просто не могу смотреть военных фильмов.

– А я убивал немцев, – задумчиво сказал Орфей Иванович. – У одного были начищенные сапоги, а я взял и убил его.

– За что?! – воскликнула Людмила Дорофеевна, в ужасе закрывая свежее лицо руками.

– За то, что он хотел убить меня. Прострелил мне ногу своим крупнокалиберным, и в мой грязный сапог набежало с литр крови. Едва Богу душу не отдал...

– А за что он хотел убить вас?

– Вы не поверите, Людмила Дорофеевна, но этот фашист положил почти половину нашего батальона. Нельзя было нам атаковать с той губительной позиции, нельзя. Поляна простреливалась вражеским пулеметом насквозь. Я ведь сказал об этом комбату Леонидову, царство ему небесное.

– А он, что, не послушал вас?

– Приказы на войне не обсуждаются, Людмила Дорофеевна. Они выполняются. Глупые приказы – тем более. Любой ценой. Мои лучшие друзья лежат под Белой Церковью. Я забыл спросить того гада, зачем он убивал наших солдат. Мне было не до того. Я убил его, всадил в него три пули, все, что оставалось в обойме, а потом еще и штык-нож вонзил, со скрежетом. Наверное, задел за ребра, хотя мне показалось, что у него вместо сердца – камень, и я сталью – по камню. А потом я сел и заплакал. Мне ребят было жалко. Лешку... Матвея... Витька... Потом меня подобрала санитарка, славная девушка. Александра. Через два дня ее убили... Ее Лешка любил... Я не долечился в госпитале, сбежал на фронт. Мне хотелось убивать этих нелюдей, с камнями вместо сердца, еще и еще. У меня была другая война, Людмила Дорофеевна. Там не сажали морковку и не насвистывали арий. Извините.

– Вы меня не обманываете? Вы на самом деле убили человека?

– Не человека, а фашиста.

– Фашисты тоже люди. Они были культурными людьми, они не могли убивать просто так. Должна же быть причина. Почему никто не говорит о причине?

– Они убивали за идею, просто потому, что считали себя сильнее. И умнее. И талантливей. Иконы не трогали, а людей уничтожали. Они считали меня второсортным «материалом». Поэтому я их и ненавижу.

– Ненависть разрушает человека.

– Ненависть к фашистам укрепляет мой дух. А еще я ненавижу фашистов за то, что они заставили меня убивать и ненавидеть. Они и меня сделали немного фашистом...

– Большевики тоже хороши, скажу я вам. Они тоже перекраивали мир «за идею», и для них мой отец тоже был второсортным «материалом». Да и вас они не пожалели...

– Не путайте божий дар с яичницей. Одно дело – убивать из любви к людям, и совсем другое – из любви к себе, из презрения к другим. Большевики были вооружены благими намерениями. Их жестокость – это жестокость романтиков, а жестокость фрицев – это жестокость глупых циников.

– Вот именно – вооружены. Все воюем и воюем. Не люди, а бойцовская порода какая-то. Вот и вы туда же. Какой вы упрямый и ...принципиальный. А казались таким мягким человеком. Покажите мне рану на ноге.

– Вы думаете, я притворяюсь хромым?

– Не говорите глупостей. Покажите ногу. Да, да, поднимите штанину. Какой ужас!

Глядя на давний шрам, грубо зарубцевавшийся красновато-сизым зигзагом, напоминавшим зловещий разлет немецкого Z, легко можно было представить, в какие клочья была разодрана нога молодого тогда еще человека.

– А за что вам дали орден, вот этот? – она аккуратно притронулась пальцем с отполированным ногтем к лакированной эмали ордена Боевого Красного Знамени.

– Именно за то, что я убил фашиста, который не сумел убить меня.

– А этот? – пальчик коснулся застенчиво рдевшего ордена Красной Звезды.

– За то, что спас мирных жителей. Немцев...

Они замолчали. Было слышно, как натруженно тикают настенные часы, уставшие подгонять время, которое пока что оказалось не в силах изменить людей.

– Какую же оперу мы будем ставить в следующий раз? – спросила Людмила Дорофеевна, поймав паузу в осипшем бое домашних курантов.

В музыкальном училище была традиция: силами учащихся и преподавателей раз в сезон ставили новую оперу. Здесь было много талантливейших сосланных музыкантов, которые щедро делились секретами мастерства с учениками. Муж Людмилы Дорофеевны, органист из Риги, умерший лет пять тому назад, тоже оказался в Ленинабаде не по своей воле. Именно он делал искусные аранжировки для оркестра, дирижировал которым Орфей Иванович. Последние годы дирижер взял на себя еще и миссию аранжировщика. Оперные постановки давались все труднее и труднее: кто-то умирал, кто-то уезжал в Москву и Ленинград.

– Что-нибудь из Вагнера, я думаю. Может быть, «Тристана и Изольду». Немецкая опера гораздо глубже и сильнее итальянской, согласитесь. Даже русская ей уступает.

– Несомненно.

– Конечно, мне трудно тягаться в аранжировке с покойным Янисом Теодоровичем...

– Нет, нет, ваши аранжировки тоже хороши. Они очень колоритны и своеобразны. Сохраняют и передают дух оригинала.

– Вы так считаете?

– Так все считают. Спасибо за цветы.

– Если вы намекаете на то, что пора заканчивать мой затянувшийся визит, то извините, я еще не все сказал. А я не всегда бываю так смел, отважен и словоохотлив, как сегодня.

– Так говорите же.

Орфей Иванович шевельнулся на стуле, и медали смущенно издали мелодическое шуршание.

– Я хотел бы иметь честь... – тут Орфей Иванович сухо кашлянул в кулачок. – Видите ли... Эх, была не была: соблаговолите стать моей супругой, Людмила Дорофеевна.

Часы оторопели и, кажется, забыли отсчитать два-три положенных такта. Нависла пауза.

– Разумеется, я буду вашей женой, – сказала Людмила Дорофеевна, мило теребя оборки платья. Как опытный дирижер, она выжала из паузы максимум, и оркестр, то бишь ее голос с трогательно осевшим тембром, вступил в нужном месте, не раньше и не позже. Партитура диалога ожила. Пауза только подчеркнула значимость ее грянувших слов. – Для меня это большая честь. По-моему, за это стоит выпить.

Орфей Иванович растерянно посмотрел на пустую бутылку, стоящую на столе, и сделал движение, чтобы встать со стула. Желание Людмилы Дорофеевны для него давно уже было законом.

– Нет, нет, сиди, Орфей Иванович, тебе нельзя, надо беречь ногу. У меня есть «Рижский бальзам». Он крепче водки. Годится?

Пустая бутылка была убрана со стола (при этом Людмила Дорофеевна ободряющим и плавным движением ладони прикоснулась к свежим тюльпанам, которые, в выправке дворцового караула, вытянули свои пламенеющие бутоны на сочных тугих стеблях), бокалы сменили старинные рюмки из массивного хрусталя.

– Это еще дореволюционное стекло. Единственное, что осталось от деда, не считая иконы. За что пьем?

– За тебя, моя дорогая.

Медали слабо звякнули, стиснутые внушительной грудью Людмилы Дорофеевны, ордена дозрели до бордового румянца. Орфею Ивановичу был подарен поцелуй, о котором он грезил еще там, на фронте, – еще до того, как убил фашиста. И только теперь он обнимал женщину, ради которой, оказывается, воевал: он только сейчас понял это.

В этот момент где-то в городе, затерянном на просторах жестокой Азии, прогремел залп салюта в честь победы над варварами из Европы.

– И за то, что ты остался жив, мой воин, – сказала Людмила Дорофеевна и выпила, опередив капитана и кларнетиста.

Вечерние сумерки быстро поглощали дневной свет.

По высокому небу, обгоняя друг друга, плавно скользили легкие облака.

11.05.2007

За буйки

– Что, тянет за буйки? – спросил меня загорелый, поджарый мужчина с мускулистой грудью, обросшей темноватой пушистой порослью, в которой, ближе к шее, пробивалась седина, упакованный в черные, плотно прилегающие к лицу солнцезащитные очки. Видимо, бывалый.

– Тянет. По-моему, это естественно. Или в этом есть что-то постыдное, что надо скрывать от всевидящих очей праздной публики?

Я только что вылез из озера после дальнего заплыва. Плыл я долго и с удовольствием, чередуя стили или просто покачиваясь на волнах, перевернувшись на спину. В тот момент, когда буйки остались далеко позади (расстояние до них чувствовал и контролировал мой затылок), я едва не попал под лихой катер. Или маленькую, с хищным силуэтом яхту, не разобрал. Без предупреждения, пренебрегая необходимой осторожностью судно, состоявшее из острых, похожих на акулы плавники, линий, проскочило возле меня, распарывая воду.

Пережив эту атаку, я, ошарашенный и наглотавшийся воды, резко повернул и поплыл назад. Дотянул до линии буйков. И тут меня ни с того ни с сего оставили силы. Сначала трещину дала привычная, генетически присутствующая во мне незаметным, но незыблемым компонентом, уверенность пловца, а потом пропали силы. Из мышц, не крутых, но литых, тренированных, сначала предательски растворилась, а потом эфиром испарилась крепость, я просто перестал надеяться на них, на известную мне силу воли; возможно, я резко и обреченно перестал верить в свою звезду (в которую, оказывается, верил легкомысленно и безгранично). И, как привороженная рыба, не мог заставить себя оторваться от ржавого, раскрашенного в сине-красный цвет поплавка. Чем дольше я кружил возле буйка, делая вид, что не очень спешу назад, тем противнее ощущал валы накачиваемой на меня паники, которая делала меня все слабее и слабее.

До берега плыть было прилично. Но еще минут десять-пятнадцать назад мне и в голову не пришло бы делать из этого проблему. Я всегда заплывал за буйки. Более того, это и составляло для меня смысл понятия «купаться». Я совершал заплывы, отдалялся от массы копошащегося люда, наслаждаясь вылазкой в запрещенную зону, где аж до горизонта, если ты был в море, или до противоположного берега, если ты пересекал озеро, манила бликами открытая вода. Только ты и стихия. Два берега – и ты.

И вот что из этого вышло...

Я собрался с духом и не торопясь (чем более хотелось прибавить прыти, тем хладнокровнее я замедлял темп гребков) добрался до берега. Постоял там, где мне было по колено, где народу было больше всего, и вышел.

Мужчина, казавшийся старше меня лет на пятнадцать-двадцать, снял очки. Глаза были сине-голубыми. Когда-то темные, а сейчас почти побежденные сединой волосы, не коротко и аккуратно прибранные под машинку, а длинноватые, свежее тронутые стрижкой (явно не бывший военный, скорее, смахивает на вольного художника), и голубые глаза – не водянисто-голубенькие, а с глубоким васильковым отливом.

Я вспомнил свое маленькое предубеждение: у плохих людей не бывает отчетливо голубых глаз. Проверить?

– Стыдного нет ничего, – сказал он. – И глупого, пожалуй, нет. Для тридцатилетнего человека это, скорее, нормально и естественно, соглашусь с вами. Но за буйки – это особый риск, к этому надо быть готовым.

Судя по всему, он видел все, что произошло со мной. Об остальном догадался.

Что ж, у него острое зрение – дальнзоркость, вполне типичная для возраста в районе пятидесяти. Большой жизненный опыт. Склонность к рефлексии. Известное чувство такта. Возможно, умение разбираться в людях. Отсюда, не исключено, – вкус к поучениям. Во всяком

случае, интерес к другим еще не пропал или не совсем еще заслонен эгоизмом пожилых. Чем не собеседник?

Тем более что купаться сегодня у меня пропало всякое желание.

– Имя мое Михаил, – я протянул руку, приветствуя его интерес ко мне.

– Константин, – сказал он и крепко стиснул мою ладонь. Я предвидел, что он даст жесткого «краба».

– Вы расскажите мне историю из жизни?

Вопрос мой был без подвоха, но я сказал то, что сказал – упредил нотационный характер беседы. Для умного – достаточно.

– Честно говоря, хотелось бы.

Он быстро сориентировался и на ходу стал перестраиваться. Неплохой уровень и стиль общения. Такого жиденькой иронией не прошибешь. Судя по всему, обладает чувством собственного достоинства, гибкостью, порождаемой духовным тактом...

– Возможно, вы и правы, – добавил он. – Возможно, мне больше хочется рассказать историю, чем вам ее услышать. Вы правы – если вы это имели в виду.

Я молчал, ибо добился своего: я уже лишил его информационного преимущества, дав понять, что быстро узнаю о нем больше, чем он понапридумывает обо мне. Нечего подглядывать за тонущими. Это неэтично. Хотя и, чего греха таить, любопытно.

– Однако, не исключено, что в гораздо большей степени в ваших интересах услышать ее, нежели в моих – рассказывать ее вам. Вполне возможно, что история, услышанная на берегу, очень пригодится вам. Такое бывает.

– Возможно, – сказал я. – Мне интересно.

Я с неудовольствием почувствовал, что скрываю от себя степень интереса к истории, которую может рассказать этот человек. На самом деле я был заинтригован. Мне показалось, что и он почувствовал то, что почувствовал я. Если так, то он переигрывал меня за явным преимуществом. Достойный собеседник? Я был к этому совершенно не готов. Мои самоуверенность и снисходительность превращались в форму пижонства. Вот откуда досада и некоторое раздражение.

Интересно. Возможно, сегодня был один из тех дней, когда узнаешь о себе много нового – на годы вперед.

– Я писатель, – сказал Константин. – Писатель, сценарист и путешественник. Может быть, я и не писатель по характеру своей одаренности, а просто охотник за историями – за историями душ человеческих, я имею в виду.

Мы, словно перед дальней дорогой, присели на свежую еще июньскую траву. Я молчал, давая понять, что не являюсь охотником до комментариев (если я не на работе, конечно); возможно, подумалось мне, я тоже охотник за историями. Я – психотерапевт, и кучерявая, многословная повесть о том, как я умер, чтобы воскреснуть к собственному удивлению, эгоистически копаясь в собственной душе, лежит в моем творческом портфеле. Повесть о несчастной любви и о том, как я потерпел крах, если говорить без обиняков. Послушать просто историю из жизни – почему бы и нет?

Стоп. Опять приступ агрессивного снисхождения. Конечно, я сопротивлялся – сопротивлялся обаянию великодушия и прямоты. Он еще рта не раскрыл, а мне уже почему-то стало неловко за свою повесть, за то, что я автор «вещи», где искусство писать было направлено на то, чтобы скрыть от себя причины причин.

– Однажды...

Нет, это чересчур даже для меня. Начнем иначе.

Что значит – за буйки?

Это значит преступить условную, но нешуточную черту. Можно сказать, подергать смирного до поры до времени тигра судьбы за влажный ус. И тут фокус в том, что никогда точно не знаешь, удачно ты это сделал или нет. А когда узнаешь – поздно пить боржоми.

Ее звали Пенелопа, не смейтесь, и у нее была младшая сестра...

Вот тут я улыбнулся. Он – тоже:

– Не угадали. Не Ариадна или Коломбина. Ничего необычного: Александра.

Женился я отчего-то на Пенелопе, хотя любил, как потом выяснилось, Александру. Пенелопа была похожа на мать, а Александра – на своего отца, мужика нестандартного, все ждавшего сына и потому награждавшего дочерей своих такими вот именами. В результате Александра была не похожа на Пенелопу. Мне вообще сейчас кажется, что я полюбил ее, что называется, с первого взгляда. Ну, допустим, взгляда не взгляда, но с момента первого душевного, что ли, контакта. Глупость, конечно... Кто мог тогда предположить такой сумасшедший расклад: разница в возрасте между сестрами составляла более десяти лет. Пенелопа вышла за меня, когда ей было двадцать. Саша была девочкой. А я и сейчас не считаю себя поклонником нимфеток. Мне и в голову не могло прийти, что я тайно влюблен в Александру – относился я к ней как к сестре. В полном и точном смысле этого понятия. Мы общались не как мужчина и женщина – а как брат и сестра. Сестер у меня не было, я рос единственным ребенком в семье. У меня даже двоюродных сестер не было. Поэтому отношения с прелестной девушкой, с которой можно быть абсолютно откровенным, но невозможно позволить себе абсолютно ничего из области «мужчина – женщина», были для меня, извините, исполнены очарования. Мы были совершенно свободны и раскованы в общении, потому что оба добровольно признавали табу на преступную любовь брата и сестры (или мужа сестры и золовки, что почти едино суть).

Ох, уж эти табу... С одной стороны, ничего нельзя, а другой – можно все, потому что все равно ведь «ничего нельзя». Понимаете? Именно табу позволило нам сблизиться до черты роковой, словом, пересечь буйки, чертово табу помогло, и ничто другое. Кроме того, я слишком поздно оценил коварный нюанс: я относился к ней как к сестре, но не родной сестре, а двоюродной. Но это все потом. А пока... Мы слишком верили в свою порядочность и были одинаково безразличны к грязи: мы обладали врожденным чувством достоинства.

А это, казалось нам, уже не табу, а гарантия.

Через девять месяцев после свадьбы у нас с Пенелопой родилась дочь, Оксана, и Саша с момента появления на свет моей малышки души не чаяла в племяннице. Первые десять лет брака мы прожили в квартире, большой и комфортной, с родителями Пенелопы. Жена не хотела уходить на съемную квартиру, как-то все оттягивала этот момент, да так и дотянули до того времени, пока не обзавелись своим жильем.

Наверно, жену можно понять: было очень удобно растить дочь. Всегда кто-нибудь на подхвате: то бабушка, то дедушка, то тетя. Саша нянчилась с ней (называла «мои Ксюшки» или сюсюкала: «Ксю-ксю») и проводила времени в нашей комнате не меньше, чем Пенелопа. Никому и в голову не приходило кого-то к кому-то ревновать. Напротив, мы втайне гордились сплоченностью семьи. Естественно, ситуаций, когда я мог оставаться наедине с Сашей, было сколько угодно. Мы разговаривали с ней часами. Она любила, когда я вслух читаю Пушкина или Бунина. Иногда мы дурачились, порой дурачились рискованно (Ксюшки нам в этом здорово помогала, как бы втягивала нас в свои игры), и – секундное дело! – уже тогда чувствовали, что пламенный и сумасшедший диалог глазами и руками лучше не продолжать. А хотелось все чаще создавать «пограничные» ситуации, когда голова кругом, когда легко прощались забытая на талии рука, поцелуй во вспотевший лобик или акцентированное касание расцветающих ее прелестей. Когда она в свободном халате наклонялась пошептаться к моей дочери, которая называла свою тетю не иначе как «Сашенька», я любовался ее набухающей грудью, и уже с трудом заставлял себя отвести взгляд. Дыхание мое становилось тяжелым. Я уже не целовал Пенелопу на глазах у Александры, а когда жене приходила охота одарить меня лаской (всегда

слишком интимной, на мой вкус), Саша, как большая, тут же отводила глаза. Спать она уходила рано, не по возрасту (над чем вся семья добродушно подтрунивала), никогда не задерживалась, чтобы посмотреть с нами телевизор или просто поболтать. Словом, с некоторых пор вечерами она выпадала из семейного круга.

И все же мне было легко с Сашей. Ее удивительное чувство такта диктовало ей чувство дистанции. Мы по умолчанию согласились: никаких разговоров или объяснений между нами быть не должно. Вот она, черта, преступив которую мы начнем совсем другую историю. Черта. Табу. Буйки.

Но и это умолчание уже сближало нас...

Оксана росла, однажды летом ей исполнилось уже восемь лет, а Александре внезапно стукнуло почти девятнадцать. Она была уже студенткой.

Первый гром прогремел тогда, когда Пенелопа, светясь от удовольствия (комната в ту ночь немела от ровного сияния полной луны), рассказала мне, что у Сашеньки появился молодой человек.

– Как молодой человек? – просил я, пытаясь справиться со сбившимся дыханием.

– И не просто появился, – ответила жена. – Он сделал ей предложение.

– Как сделал предложение?

Я чувствовал себя обиженным и уязвленным в лучших чувствах.

– И не просто сделал предложение, – засмеялась жена особенным смехом – приглушенным клетотом, который я очень хорошо знал.

– Как не просто сделал предложение?

Боюсь, что глупее в своей жизни я не выглядел никогда.

– Сашенька... В общем, Александра уже не девочка. Что же тут непонятного? Рассталась с девственностью. Иногда это с девушками случается, верно?

Смех. Клетот.

– Помнишь, как ты взял меня в первый раз? Уверенно и нежно. Возьми меня точно так же. Чтобы мне было немножко больно и очень сладко.

И опять то самое блекотание, предназначенное для особенных ситуаций, которое я до сих пор принимал за милый щебет.

На меня впервые в жизни – с этой минуты у меня многое в жизни будет впервые – накатил приступ ненависти к ни в чем не повинной жене, приступ ненависти, связанный с сексуальным раздражением против нее. Это было плохо и, главное, с далеко идущими последствиями – я тотчас оценил опасность.

– Не хочу, – сказал я.

– Ты хочешь, чтобы я сделала тебе ням-ням? Нет? Могу позволить то, что позволила только один раз. Хочешь? Давай, разорви свою девочку...

Она стала шарить руками по моему телу, абсолютно уверенная в своем праве обладать мною в любое время дня и ночи. Я был ее мужем. Ее собственностью. Так было все девять лет нашего счастливого супружества. Это было нормально.

И тут я впервые посмотрел на свою жену чужими глазами: отвисшая грудь, скомканный живот, во всем какая-то гениальная адаптированность к мелочам семейной жизни. Она принимает как должное все то, что уже было и что еще только будет в непростой, но неизбежной семейной жизни. Передо мной, особо не смущаясь и не интересуясь моими желаниями, развалился мой пожизненный крест, полноватый в бедрах, но, если не слишком придирааться, еще очень даже ничего на много-много лет. Я вдруг ощутил, что активно не хочу свою жену.

– Давай, иди, чего ты ждешь? Посмотри, что у меня здесь творится... потрогай...

Крест оживал и шевелился.

На следующий день я едва дождался возвращения Александры из университета. Больше всего боялся, что она полетит на свидание с женихом, которого я заочно, но от чистого сердца, возненавидел до конца жизни, и вернется за полночь. Нет, она пришла к обеду.

– Поздравляю, – сказал я, скрестив руки на груди.

Она сказала: «Спасибо». Больше никаких комментариев. Спасибо – и все.

– Когда свадьба?

– Предложение – это одно, свадьба – это другое. А семейная жизнь – это третье.

– Когда же ты научилась отделять одно от другого?

– Было время на раздумья.

– Я слышал, ты уже не девственница?

– Костя, твои разговоры с твоей женой меня не касаются.

– А тебя касается, что я люблю тебя? Я люблю тебя, черт возьми, – шипел я, сжимая кулаки и пугая самого себя. Кажется, дома была глазастая теща. – Люблю, понимаешь? Люблю... А ты...

Она не сказала ни слова. Даже глаз не отвела. Только по щекам покатались крупные слезинки.

– Я тебя тоже люблю. Но ты каждый вечер уходишь в спальню к своей жене. И всегда будешь уходить. А я уже несколько лет не могу смотреть на это. И что?

– Подожди. Ты сказала, что любишь меня?

– Люблю. Но любовь – это любовь, а жизнь – это жизнь. Ничего не изменишь.

Когда она успела вырасти? Еще вчера у нее совсем груди не было. Когда стали колыхаться под платьем ее бедра? Джинсы в обтяжку – еще куда ни шло, но платье, скрывающее...

Когда я заплыл за буйки? Даже не заметил. Но заплыл несомненно. Причем, неизвестно, насколько далеко. Влюбился в сестру жены. Далековато.

Дело в том, что когда в жизни мужчины появляется подлинное чувство – а если оно появляется, он об этом рано или поздно догадается – кажется, что жизнь начинает вращаться вокруг этой оси. Кажется, что нет ничего невозможного – потому что самое невозможное, любовь, уже случилось. Кажется, что все мыслимые сложности – это дело техники.

Удивительно, как на первом этапе легко совмещаются несовместимые вещи – семья и любовь. Мужчина поразительно недооценивает ситуацию. И это не легкомыслие в нем говорит, а здравый смысл. Он отделил, и правильно отделил, главное от неглавного – и успокоился, наивный. Хотя тут-то, за буйками, все по-настоящему и начинается...

Я понял, что люблю Сашку и буду любить ее всегда. Следовательно, нам надо быть вместе. Иначе чего стоят все эти вековые разговоры о счастье и мечтах?..

Из правильной посылки я вывел неверное следствие. Понял это, к сожалению, тогда, когда, как честный человек, рассказал обо всем жене.

Боже мой, какой ад я сотворил себе своими же собственными руками и не самими, казалось, глупыми мозгами! На что я надеялся? Едва миновав первую линию буйков (еще был шанс вернуться к берегу, где мирно копошатся нормальные люди, папы, мамы, тещи, даже не поглядывающие в сторону запретных буйков), я, набрав ход, заплыл за вторую заградительную черту. Я прошел точку не возврата (так это, кажется, называется у легчиков). Точку, за которой то, что я сделал, становится необратимым.

Иначе казать, я выпустил джина из бутылки. А обратно, даже детям известно, джина уже не загнать. Он творит свои джиньи козни, не считаясь с бывшим хозяином положения. Считает делом чести унижить вчерашнего повелителя.

Дело не в том, что жена обиделась; дело в том, что я узнал, что представляет собой существо, которое мы называем просто и уважительно – женщина. Еще и сейчас при слове женщина я порой вздрагиваю. Для мужчины узнать, что такое женщина, – пройти точку не возврата. Это не каждому под силу.

Иногда от идеальной семьи до идеального ада – одно благородное движение сердца.

Можно прожить если не в идеальных, то сносных семейных условиях всю жизнь, и так никогда и не узнать, ни за что не догадаться, с кем ты достойно прошел по жизни рука об руку. Это и есть счастье, если угодно, – правда, то счастье, которое находится до буйков.

Правила жизни до линии буйков очень просты: за буйки не заплывать. Наиболее популярный и почитаемый принцип здесь, на мелководье, – много будешь знать, скоро состаришься. Сейчас поймете, о чем я.

Самый страшный вариант – хорошие, очень приличные женщины, жены, мамы и домохозяйки, смыслом жизни которых становится вот такая святая ересь: испортить жизнь мужчине, которого именно она вынудила оставить ее. Уйти из семьи. Она знает его слабые стороны и уязвимые места (потому что за десять лет жизни ты сам только о них и твердил, только их и выставлял напоказ, словно щеголяя своей беззащитностью, ибо слабости наши – дети, мама, работа, тетя, жена, золовка – высшая доблесть семьянина), и смертельно жалит исключительно туда, в наши ахиллесовы пунтики, не отвлекаясь на артерии, не угрожающие жизни. Кобра, казавшаяся опасной не более, чем раскрашенный резиновый шланг, вдруг раздувает капюшон и стервенеет. Бросается на любое твоё движение. Она, приличная мамаша, все на свете, буквально – все, включая собственных детей, делает инструментом давления на своего «бывшего» (супруга, возлюбленного – не суть; словом, своего бывшего мужчину). Потенциал позитива переходит в потенциал негатива с пугающей легкостью и непринужденностью.

Именно так я прожил свою жизнь с Пенелопой. Чем непригляднее была она в отношениях со мной (голая стерва как таковая, без нюансов), тем благопристойнее становилась в отношениях со всеми другими, включая собственную дочь, собственную сестру и моих родителей, не говоря уже о своих. Я же говорю: позитив усиливается негативом. Вот почему со стороны кажется, что мужчина всегда не прав. Ситуация представляется как минимум неоднозначной (что в переводе с дипломатического означает: мужчина еще как виноват – однозначно больше, нежели женщина).

Первое, что сделала Пенелопа, – спустила всех собак морали и нравственности на Александру, гнусную разлучницу. Иначе говоря, последнюю отлучили от семьи, выгнали из дому усилиями любящей мамы, которая в одночасье превратилась по отношению ко мне в злобную кусачую тещенку.

Второе, что сделала Пенелопа, – выгнала из дому меня, наказав «моим Ксюшикам» не подходить к «папашке-растлителю» на пушечный выстрел.

Мои собственные родители в результате умелых манипуляций (слезы, истерики, угрозы свести счеты с погубленной жизнью – все пошло в ход, все в ловком исполнении сошло за истину) превратились в инструмент давления на меня. Они практически отреклись от собственного сына, который все тридцать с лишним лет был образцовым, а теперь вот враз оказался негодяем. Либо возвращение в семью на условиях Пенелопы и полное покаяние – либо они меня знать не хотят. Таково было родительское благословение.

Прошли годы, прежде чем я отмылся от грязи – хотя бы в глазах родителей. Дочь я чуть не потерял. Скоро она выходит замуж, и большой вопрос, позовут меня на свадьбу или нет. Впрочем, позовут, конечно, не сомневаюсь.

Что касается Александры...

Первое время она держалась. Мы даже выстраивали планы совместной жизни, собирались уехать в другой город и начать все – не с начала, конечно, так говорят только ради красного словца, а продолжить исковерканное начало с чистого листа. Попытаться исправить неудачный старт.

Но, понимаете, к тому времени я не мог еще справиться с моим новым кошмаром, который подстерегает всякого, рванувшего за буйки. Я не мог отделаться от наваждения, от преследовавшей меня мании: я настолько боялся увидеть в Александре Пенелопу, разглядеть в

женщине женщину, что мой энтузиазм по поводу совместной жизни вряд ли впечатлял Александру.

В конце концов, она собралась с силами и ушла от меня. А я не нашел в себе сил остановить ее.

Понимаете, я просто испугался: заплывать за буйки сил еще хватило – а вот там, в открытом море, я оцепенел. В таком возрасте за буйки еще нельзя: рановато. Кишка тонка.

Константин прервал свою историю и замолчал.

Странно: молчание тоже становилось частью рассказа. Мы молчали каждый о своем, и я не испытывал ни малейшего неудобства. Заговорил он так же внезапно, как и замолчал, починаясь, очевидно, ходу мысли.

– Мужчина и женщина: проще ничего не бывает. Посмотрите на берег: он весь покрыт мужчинами и женщинами. Собственно, больше никого на Земле-то и нет; бабочки, стрекозы и носороги – это, согласимся, несколько иное, хотя и там вопросы пола присутствуют. Так ли иначе отношения «мужчина – женщина» лежат на поверхности, касаются всех, так или иначе об этих отношениях у каждого свое представление.

Но глубже этого нет ничего на свете. Все наши буйки – на этой поверхности.

Иногда очень сложно отличить смелость от трусости, жажду жить – от стремления к самоликвидации, безрассудство – от глупости. Безопасно жить можно на обжитой, освоенной территории; а если тебя тянет за буйки – что это? Риск или идиотизм? Хорошо или плохо?

Нельзя жить в открытом море. Но на территории до буйков некоторым жить скучно, иногда – невыносимо...

Судя по всему, он окончил свое повествование, и мы вновь замолчали в унисон. Не знаю, ждал ли он от меня каких-либо слов; я же молчал потому, что мне не хотелось пошлым хмыканьем нарушать цельность всего услышанного. Не хотелось портить песню.

– Надеюсь, теперь вам понятно, что рассказать мою историю я мог только совершенно незнакомому человеку?

Я задумался. Потом спросил:

– А почему нельзя было описать это в романе?

– Говорю же вам: я заплыл за буйки. Это не годится в роман, вообще в литературу – по крайней мере, в ту литературу, которая сегодня существует. Литература, как и все живое, предпочитает плескаться и резвиться в зоне до буйков, так сказать, в купальне для женщин и детей. Ведь литература и существует для подавляющего большинства, для народа, для публики – для тех, ради кого и выставлены буйки.

В литературе ведь как: высунул нос за буюк, рискнул, отведал живого чувства – успокойся, зафиксируй его, дай огранку. Не торопись. И это уже великое движение вперед. Новое чувство, которое испытал талант и при этом уцелел, – это технология прогресса. А если ты живешь в эпицентре эмоционального вулкана, где бусы буйков за ненадобностью сняты, все сжигается. Вокруг тебя сплошной пепел. Сухой остаток – не для литературы. Нужна ли писателю подлинная трагедия, которая отнимает все силы и чувства, убивает само понятие талант?

Выращенное и описанное чувство – подарок литературе. Прожитое – у литературы отнятое. Великие достижения в литературе – обратная сторона великой осторожности. Вот и думай...

Кстати, я и сам это только сейчас понял. Сию минуту.

Мы опять замолчали, слышно было только, как устало плещутся волны, набегающие с самой середины озера. Гомон толпы как-то не принимался в расчет, словно его и не было вовсе.

Наконец, я понял, что меня мучает, чего лично мне не хватает в этой истории для того, чтобы она обрела гармоничность и нечеловечески совершенную законченность. Я спросил с замиранием сердца:

– А что стало с Александрой? Да и вы не похожи на одинокого холостяка. Слишком ухоженный вид. Те, кто проигрывают, не очень следят за собой. Как сложилась ваша жизнь?

– Я нашел в себе силы вернуть Александру. А у нее хватило сил не сопротивляться. Любовь действительно сильнее всего на свете. Это не слова. У нас растет сын, в котором оба его деда души не чают. Понимаете?

Я теперь чувствую себя амфибией, я свободно обитаю в пространстве до буйков, но и за буйками ориентируюсь без паники. Я понимаю, что женщина, не украшенная иллюзиями мужчины, – просто красивая серая кобра. Я понимаю, что в Александре в любой момент может ожить вирус Пенелопы; но без женщины существовать невозможно. Проблема в том, что если относиться к ней как к фурии и кобре, то сам незаметно превращаешься в рептилию – потенциал позитива с пугающей легкостью переходит в потенциал негатива. Мужчина превращается в женщину и становится главным врагом собственному счастью.

Так что стерва – лучший подарок в жизни: после нее есть шанс отыскать приличную женщину. Возможно, мой роман будет называться «Стервоточина». А лучше так: «Ищите женщину». Банальнее не придумаешь, верно?

Он надел очки, очевидно, давая понять, что больше говорить не намерен.

И действительно – легко поднялся с травы и ушел куда-то вверх, к дороге, кивнув мне головой.

Тут я почувствовал, как меня подхватило на гребне цунами, разбушевавшегося у меня в голове и сердце, и, помимо воли, занесло за буйки, хотя ни разу по-настоящему туда я не заплывал.

23-24 августа 2008

Любовь

Николая Петровича особенно поразила картина, которая висела над зеркалом, похожая на чей-то затасканный этюд: устремленные вверх глаза, мягкие линии губ и выющиеся локоны, спадающие вдоль щек. Глаза, губы и локоны, обнаженное плечо – все это цитаты, все это уже где-то было. Сплошная слащавая романтика, граничащая с безвкусицей, но все это чем-то напоминало стильную Любашу.

– Чья это картина? – спросил Николай Петрович.

– Это первый вопрос, который мне задают, когда оказываются в моей квартире, – улыбнулась Любаша, мило покривив мягкие губы. Она расставляла изящные чашки тончайшего фарфора на маленьком столике, который попросила Николая Петровича придвинуть к дивану. Было уютно и очень комфортно.

– Смесь Боровиковского с Серовым во фламандском стиле, насколько я понимаю в живописи.

– Я понимаю еще меньше. Это работа моего знакомого художника. Он говорит, что писал не столько мой портрет, сколько мой образ. Мне очень дорога эта картина.

– Чем могу помочь, Любаша? Зачем ты пригласила меня?

Николай Петрович, солидный мужчина, одетый совершенно неофициально: на нем был бордовый пуловер с молодежным вырезом и серые джинсы – пригубил чашку с великолепным, густо заваренным чаем и откинулся на спинку дивана.

– Мне нужен ваш совет, Николай Петрович.

Николай Петрович Синицын был другом покойного отца Любаша, Игоря Ярославовича, умершего совсем недавно, месяца три тому назад, от инфаркта, вызванного какими-то «безумными переживаниями». Что это были за переживания – Николай Петрович в точности не знал. Любаша, которой было лет двадцать пять, была замужем за парнем, о котором Николай Петрович знал только то, что у него были своя фирма, что-то связанное с компьютерами, и кроткий нрав. Игорь был без ума от зятя, очень воспитанного и предупредительного.

– Я бы и сам не отказался от мудрого совета. Ну да ладно. Мне положено все понимать в жизни. Слушаю тебя, Любаша.

– Вы ведь по любви женились на Наташе?

Николай Петрович, отец двоих детей, скандально развелся с блекнувшей красавицей-женой Настюшей и женился на своей студентке, Наташе, которая сейчас ждала от него ребенка. Синицын и сам себе толком бы не объяснил, что произошло в его жизни, и уж меньше всего ему хотелось посвящать в эту запутанную историю дочь своего друга, девицу, судя по всему, праздную и не очень обремененную тяготами жизни. Что ей рассказать? Как он дико ревновал жену, у которой было как минимум два любовника? Безобразные семейные сцены, грубые подробности, беспредельное, почти тюремное унижение, ломающее волю и толкающее к приступам слепой ярости, которая пугала прежде всего его самого. Непонятные, покореженные отношения с детьми. Стремление честно разобраться и прояснить ситуацию привели к тому, что его подленько стали считать стороной оправдывающейся, у которой также рыльце в каком-то сомнительном пушку. Битый небитого везет – теперь он хорошо понимал, что это значит.

О том, что он женился на Наташе, Николай Петрович пожалел уже на второй день после скромной и торопливой церемонии бракосочетания. Это не было взвешенным решением с его стороны, это был шаг, вызванный обидой и болью. Что-то вроде мести. В голове был туман, в сердце – ноющая саднящая пробоина. Но сейчас, некоторое время спустя после тех событий, Николай Петрович успокоился и стал понимать, что Наташа – девушка совсем не простая, «с переживаниями», которая вышла за него замуж по любви и по светлому, не унижающему их

обоих, расчету. Ее спокойная, но твердая позиция привела к тому, что все стало становиться на свои места. Вместе с неутраченной болью в его жизни стало находиться место достоинству и уверенности, а вместе с ними стали проникать – блестящими нитевидными вкраплениями – полосочки счастья. Жизнь начинала походить на жизнь – мерцать разными красками...

Нет, для светской болтовни за чаем, да еще в присутствии этого портрета с локонами, его история явно не годилась.

– На Наташе я женился из-за любви, если уж быть точным, – ответил Николай Петрович, принимаясь за чай. – По любви я женился первый раз.

– А я на грани того, чтобы из-за любви развестись, – вымолвила Любаша, не меняя тона. Она держала чашку так, что Николаю Петровичу хотелось оттопырить ей холёный мизинчик.

– Боже мой, врагу не пожелаю, – быстро проговорил он, опуская глаза.

– Что же мне делать?

– Ты думаешь, что на такие вопросы есть готовые ответы?

– Мне не с кем посоветоваться, я чувствую себя ужасно, ужасно.

Любаша не заплакала, нет, но на ее глаза набегали слезы – ровно настолько, чтобы подчеркнуть их оленью прелесть. Любимой мужчиной, глядя на эти увлажненные очи, по-рыцарски принял бы сторону Любаша, безо всяких объяснений и доказательств. Аргументы не возвысили, а унизили бы Любашу, а заодно и того, кто верил аргументам больше, чем ее глазам. Все это было уже знакомо Николаю Петровичу. Подобной тактикой виртуозно владела жена.

– Тебе придется рассказать мне свою историю, если тебе важно мое мнение, – произнес Николай Петрович как неангажированный эксперт.

– Это очень интимная история. Но мне больше не с кем ею поделиться.

Любаша долго рассказывала о том, как в ее жизнь совершенно незаметно, однако неотвратимо вошел один художник.

– Этот? – кивнул в сторону портрета Николай Петрович.

– Разумеется, этот, – ответила Любаша. – Он старше вас на несколько лет. Великолепный художник, просто дар божий!

Вся сложность переживаний Любаша заключалась в том, что он, этот великолепный художник, был женат, а она, Любаша, была благополучно замужем.

– У вас дошло дело до постели? – спросил Николай Петрович.

Вместо ответа Любаша опустила свои широко расставленные глаза, отчего стал виден высокий лоб, обрамленный вьющимися кудряшками.

Любаша рассказывала о том, как нестерпимо стыдно бывало ей после встреч с художником – стыдно перед женой художника и перед собственным мужем, и перед собой, да, да. Эти мучения, собственно, заполняли всю ее жизнь. Ангельский лик и ангельские терзания совести, отражавшиеся в ее выразительных глазах, заставили, почему-то, Николая Петровича обратить внимание на ее достаточно крупную грудь, которой он до сих пор никогда не замечал. Любаша была дочь друга, он никогда не смотрел на нее как на женщину. Он даже не мог бы сказать, нравилась она ему или нет: он смотрел на нее *другими* глазами, которые предполагали отношения родственного толка (когда женщина *не может* нравиться нормальному мужчине) или, лучше сказать, исключали напрочь отношения интимные. Когда она была маленькая, он гладил ее по головке, теребя забавные кудряшки. Николай Петрович мог бы сказать о себе, что ему ни разу не было стыдно хотя бы за один нескромный взгляд. На ней была блузка, глухо застегнутая под горло, но с длинной молнией, доходившей до середины живота. Почему-то именно эта молния волновала больше всего.

– Что мне делать?

В очах Любаша стояла влажная поволока.

– А кого ты любишь, моя прелесть? – вымученно и как-то фальшиво, *по сценарию*, спросил Николай Петрович. Этот вопрос уже не столько относился к ее сложной ситуации, сколько сближал его с ней.

– Не знаю.

Николай Петрович поймал себя на том, что он выказывал какое-то странное сочувствие, он безвольно начинал играть ложную роль благодетеля, покровителя – роль нечисто озабоченного папаша. И именно из этой нечистоты рождалось бескорыстное участие, а не из чувства долга. Сам факт того, что он принял правила игры, которых как будто не было и в помине, делал его участником милого фарса. Николаю Петровичу внезапно захотелось сделать комплимент картине. Очень тонко и мимоходом сплетенные сети, которых как бы не было, в любой момент могли сделать виноватым именно его. Не исключено, что в округлившись глазах запрыгал бы полунатуральный ужас, подслащенный желанием продолжать этот inferнальный флирт. Ощущение сетей влекло за собой ощущение «битый небитого везет» – и вместе с тем заставляло продолжать нечистую игру.

– Муж знает об этом?

– Разумеется, нет. Я принесу вам рюмку коньяка.

– Может быть, тебе помочь, Любаша?

Николай Петрович приподнялся с дивана. Он был на добрых полголовы ниже Любаши. Взгляд его уперся в то место, с которого начиналась молния.

– А если муж узнает? – спросил Николай Петрович, коротко рванув упруго хрустнувшую молнию; блестящая змейка молнии расстегнулась и мягко поехала, раздваиваясь, словно раскрывая что-то в ее теле.

– Я ему сама хочу обо всем рассказать. Я так измучилась. И потом: мне стыдно смотреть в глаза его жене... Да, да...

Прохладная грудь с острым соском трепетала у него перед глазами. Бюстгальтера под блузкой не было.

– А художник готов бросить свою семью ради тебя? – спросил Николай Петрович, плотно целуя то одну, то другую грудь. Он делал это рывками, изобличавшими желание потерзать ее плоть.

– В том-то и дело, что нет. Что вы делаете, Николай Петрович? Зачем это вам нужно? Скажите, зачем?

Она подняла его лицо и влажно поцеловала в губы, хищно орудуя остреньким суховатым язычком.

– Ведь вы завтра об этом пожалеете, не правда ли?

– Возможно, – сказал Николай Петрович, уверенно расстегивая молнию у нее на брюках.

– Уходите, уходите, вам пора домой, – говорила она, прижимаясь к нему всем телом.

Он положил ее на диван и легко сдвинул вниз шелковые трусики. Глаза Любаши были закрыты, отчего выражение романтической измученности, сообщавшее ее лицу неземную озабоченность, еще более шло ей. Глядя на ее лицо, Николай Петрович сильной ладонью, рывком, развел ей бедра. Теперь она, открыв глаза, с грубым любопытством наблюдала за его неторопливыми, но решительными действиями.

– Вам пора домой, вам пора домой, – твердила она с придыханием, поглаживая ему спину и живот.

Николай Петрович с небрежной лаской и в хладнокровном исступлении – ее облик и поведение провоцировали именно грубость, но никак не нежность – овладел ею на диване, содрал с нее мешавшее ему белье и блузу. Любаша с искренним упоением отдавала ему себя, не забывая при этом брать то, что доводило до исступления ее. Безо всякого стеснения, с равнодушным (и оттого как бы подчеркнутым) бесстыдством она искусно крутилась под ним, позабыв обо всем на свете, кроме настигающего ее оргазма. Николай Петрович почувствовал себя

именно приложением к ее оргазмическим потрясениям. В тот момент, когда она громко стонала, обнажив мелкие зубки и повиливая острым язычком, он разразился такими могучими конвульсиями, что довел ее до обморочной бледности.

– Мы не предохранялись, – сказал Николай Петрович, едва отдышавшись.

– Почему вы так решили? – ответила Любаша, дыхание которой давно уже было ровным и безмятежным. – За это можете не волноваться. За это всегда отвечает женщина.

Николай Петрович посмотрел ей в лицо, но глаза ее были блаженно закрыты. Невозможно было поверить в то, что этот ангел может быть блудницей. Секрет Любаша был прост: виноват всегда будет тот, кому она отдает свое тело. В ее случае это был закон природы.

Когда Любаша прихорашивалась возле зеркала (совершенно не заботясь о том, чтобы прикрыть свою наготу), казалось, что она сверяет свое отражение с портретом.

– Завтра придет муж, – говорила она. – А послезавтра он опять уедет. Что вы скажете на это?

– Безобразие, – сказал Николай Петрович.

– Разумеется, безобразие. Но я люблю своего мужа. Да, я люблю именно его. Вы мне помогли с этим определиться. Спасибо вам большое. Так вы придете ко мне через два дня?

– А как же художник?

– А что художник? – с искренним недоумением спросила Любаша. Было видно, что она не знает, какого ответа ждут от нее и какой ответ в этой ситуации был бы правильным, то есть позволил бы ей предстать в наиболее выгодном свете.

– Я ведь люблю своего мужа, – убедительно протянула она, развернувшись к нему пухлым лобком. Этот аргумент, очевидно, не оставлял никаких шансов художнику и где-то ставил в неловкое положение Николая Петровича. – Понимаете?

– Понимаю, – сказал Николай Петрович и позволил своей сильной ладони бесстыдно выразить все то, что Любаша никогда бы не позволила передать словами. Не сказанного, не произнесенного вслух для нее просто не существовало. А жесты она не комментировала. Такого искреннего и чистого лицемерия Николай Петрович еще не встречал в своей жизни. Любая попытка разоблачить его изобличила бы намерение причинить Любаше боль, обидеть эту ранимую и беззащитную женщину. Нет, в отношениях с ней уместны были только нежность, только ласка.

– Вам пора домой, – сказала она сдавленным голосом, сжимая бедра и тут же разводя их, как бы с неохотой уступая силе мужской ладони.

– Пожалуй, я немного задержусь. Мне будет стыдно смотреть в глаза жене.

Любаша закрыла глаза и показала его руке, что ей следует делать дальше. Он гладил ее так, как гладил когда-то по головке. Она не переставала быть маленькой девочкой – и это делало ее развратной женщиной, интересующейся именно той стороной любви, которая начиналась там, где кончались нормальные человеческие отношения. Начиналось *что-то другое*. Сам Николай Петрович переступил какую-то грань и стал другим.

Когда они прощались, Любаша сказала:

– Я буду переживать за вашу жену.

– Давай обсудим это через пару дней.

– Хорошо. Я начинаю ждать и очень волноваться.

На улице Николай Петрович, человек, знавший о жизни очень многое, вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком. Луна, с укором смотревшая на него тяжелым золотым глазом, взваливала на него противное чувство вины. Он даже передернул плечами, словно сбрасывая тяжесть. Потом остановился. Посмотрел на лунный циферблат подаренных Игорем Ярославичем часов. До встречи с Любашей оставалось еще двое суток. Целых сорок восемь часов. Две тысячи восьмьсот восемьдесят минут.

Внезапно Николая Петровича осенило: та девушка на картине, была, скорее всего, обнаженной, но очень умело скрывающей свою наготу, и смотрела она на луну: вот откуда этот мягкий золотой свет. И как-то легко было представить голову лежащего на разведенных коленях девушки возлюбленного. Зрителя просто дурачили: момент экстаза преподнесли как момент романтического одушевления.

Николай Петрович решил сосредоточиться на том, что через полчаса он увидит свою жену. Лицо его тут же озарилось приятной улыбкой. И обманчивый лунный свет тихим блеском отражался в глазах счастливого человека, неторопливо бредущего в толпе прохожих.

Его можно было понять: скоро жена его родит ему прелестную дочурку, и через каких-нибудь три-четыре годика малышка будет порхать по квартире, милым движением убирая с личика мягкие локоны детских кудряшек.

25.10.2004

Звездопад

1

Астрономы обещали звездопад: какая-то косматая комета должна пересечься с орбитой Земли, и мелкие кометные частицы, размером с песчинку, будут сгорать в земной атмосфере. А землянам будет казаться, что падают звезды. Сто штук в час.

Никакого чуда. Фокус разоблачен, однако жителей Земли приглашали полюбоваться на звездопад и прихватить с собой заветное желание: успеешь загадать его во время падения звезды (то есть в период сгорания песчинки) – оно непременно исполнится.

Скучно, как в цирке. Однако Леонид Зверев, подчиняясь чувству детского любопытства, за которое он себя тут же зауважал, и еще какому-то неясному томлению, которое ему не очень понравилось, в одиннадцать часов вечера вышел на крыльцо старого, но крепкого, деревенского дома, служившего ему дачей, то есть норой, где можно было укрыться от докучливого внимания друзей.

Жены у Зверева недавно не стало. Детей у них не было.

Стояла дикая, первозданная деревенская тишина. Даже ленивый лай псов не ломал, а подчеркивал ее незыблемость. Пространство вокруг подсвечивалось только звездами. Окно его дома маячило каким-то желтым лохматым пятном: лампочка горела тускло. Леонид задрал голову вверх. Равнодушные звезды блестящими крупинками рассеялись на различной глубине безмерного пространства, отчего создавалось впечатление, что Земля застыла беспомощным комочком в безмолвном океане, который и сам ютился маленькой звездочкой в чудовищном чреве Вселенной, составляющей, возможно, пылинку какой-нибудь еще Супер-Вселенной.

Человеку не обжить этих пугающих воображение просторов, поэтому звездное небо над головой угнетает нормальных людей – и манит одновременно.

От неясных мыслей, сбивающихся в печальную туманность, Зверева отвлекло первое увиденное им падение звезды. С небес бесшумно сорвалась светлая точка и, прострочив рыхлый бархат тьмы серебряной нитью следа, мгновенно истаяла. Канула в вечность.

Возможно, это была песчинка. Однако хотелось думать, что на твоих глазах сорвалась и сгинула огромная звезда. Древние люди, у которых не было еще телескопов, так, наверное, и думали. Смерть звезды, что ни говори, зрелище более величественное, нежели исчезновение песчинки. Говорят, когда с неба падает звезда, обрывается чья-то жизнь.

Зверев не успел загадать желание. Однако фейерверк был настолько интенсивным и регулярным, что подгадать со своей мечтой под падающую холодную искорку не составляло труда. Было бы желание. В том-то и дело, что Леонид, оставшись один на один с небесами, не знал, что ему загадать. Может быть, потому, что легко доставшееся теряет ценность?

Звездопад смотрелся как забавный аттракцион. Исчезла случайность и непредсказуемость – улетучилась тайна! В принципе, подумалось Звереву, можно ведь устроить искусственный звездопад. Запустить в космос какой-нибудь камень, распылить его в порошок и устроить нестрашный звездный дождик. И абсолютно обесценить сокровенное. Вот вам и небо в алмазах. Неужели нет хотя бы крохотного желаньца? Похоже, нет. Желания растут и цветут там, где есть мистика и вера в чудеса.

Потоптавшись еще минут пять с запрокинутой головой и слегка озябнув, Зверев поднялся на крыльцо. Тишину нарушил ровный гул самолета. Его легко можно было бы обнаружить по мерцанию маячков. Но Зверев, не поднимая глаз, быстро вошел в дом и лягнул запором замка.

2

Ему привиделся очень-очень странный сон.

Он стоял на крыльце и напряженно ловил боковым зрением сорвавшуюся и сторающую пылинку, песчинку, небесное тело – не важно. Ему надо было увидеть, как, покаяв черноту темени холодным серебром, искристой капелькой скатится и угаснет светлячок. Зверев знал, что его желание, которое распирало его изнутри, тут же исполнится. Он знал это точно. И его волновало не то, откуда он мог это знать, а то, что его желание непременно, с гарантией, исполнится. Какой замечательный сон!

Шея уже занемела, ноги заледенели, а звездочки все не падали. Зверев начинал уже нервничать. Вдруг ему показалось, что за его спиной залпом посыпались холодные искры. Он резко обернулся – ничего. И когда он вновь запрокинул голову до упора, прямо из середины неба, из какой-то прорехи выпал и быстро покатился большой серебристый клубок, и разматываясь он сияющей щедрой нитью долго, долго, пока совсем не пропал. Потом погасла и нить. Сразу после этого серебристой слезой скатилась еще одна звезда, оставив после себя мерцающий влагой, быстро подсыхающий след. Тогда только Зверев опомнился: губы его уже несколько раз прошептали нужную молитву, и на душе стало легко и тревожно.

Он вытер вспотевшие ладони о теплую байковую рубаху и вошел в дом.

Возле стола стояла его жена, Нюта, и что-то искала.

– Я потеряла одну сережку. Ты мне подарил их на десятилетие нашей свадьбы, помнишь? Я с ума сойду.

– Нюта, но ведь ты же умерла. Как ты могла здесь появиться?

– А-а, элементарно. Люди вон научились делать искусственные звезды. Слышал об этом? Наука далеко шагнула. Меня... подлечили, восстановили немного. Ну, я не знаю, как это назвать. Знаешь, никаких чудес. Поработали на славу – вот и все. Сережка пропала – вот это чудо. Я сейчас заплачу. Без сережки мне не жить.

Голова у Зверева пошла кругом. Что-то мешало ему до конца порадоваться возвращению Нюты, но он рад был отвлечься на такую земную мелочь, как потеря сережки.

– погоди, я где-то ее видел.

– Где, Ленечка?

– Так глупо: кажется, почему-то, в вазе с кактусами.

– Господи, что за ерунду ты несешь! Как она могла туда попасть, в мой любимый кактус!

– Не знаю, Нюта. Так показалось. Можно я тебя потрогаю?

– Не надо, Леня, не надо...

Она смотрела на него с нежностью и так, словно собиралась уходить от него навсегда. Ему не удалось с ней попрощаться: авиалайнер, в котором она летела на отдых в кресле № 53, развалившись в воздухе, упал в море, ничьих останков обнаружено не было. Люди рейса № 503, направлявшегося в жаркие страны, просто исчезли. Их не стало. Но если бы они прощались, Нюта бы посмотрела на него именно так. Он это знал.

Нюта исчезла, растворилась, словно сорвавшаяся с небес улыбка звездочка. Он не видел жену мертвой и не представлял ее тело безжизненным. Он не был готов к ее исчезновению, ему не хватало ее прощального взгляда. В ее глазах стояла такая сильная любовь к нему, к их чудесной жизни, к их удивительно счастливому союзу, что кроме как взглядом выразить это было невозможно. Она благодарила его глазами, в которых стояло нескрываемое обожание.

Даже во сне Зверев почувствовал острую и одновременно тупую боль в сердце. Но он не позволил себе проснуться, схватив Нюту за руку. Она ласково отстранилась.

Зверев подошел к вазе с заморским кактусом, ковырнул пальцем тронутую белым налетом землю и ловко подцепил комочек, в котором поблескивала сережка.

– Смотри!

На его ладони резким алмазным блеском сияла ожившая сережка. Точно так же сияли глаза Нюты.

– Как она могла попасть туда? – ахнула Нюта.

– Смотреть на две сережки я не мог, выбросить их – рука не поднималась; я оставил одну. Так мне почему-то легче. Как она оказалась в кактусе – не знаю.

– А ты не забываешь поливать кактус? Раньше ты всегда забывал.

– Ты же видишь: он живой. Мохнатый. Только мне пришлось его пересадить в новый горшок. В старом он начал сохнуть. Может, заскучал без тебя.

Нюта опять погладила Леонида печальным теплым взглядом, которым провожала его на работу каждый день.

– Мне пора, – просто сказала она.

В сердце опять взметнулась боль, и момент пробуждения странно слился с мигом, в который Нюта исчезала из комнаты. Она бесследно истаяла, канула в вечность.

– Ты забыла сережки! – крикнул он, открыв глаза.

Предутренняя тишина была ему ответом. За окном уже посветлело. Вскоре отрывисто зацокали птички.

Зверев лежал с закрытыми глазами и по щетинистым щекам его тусклыми звездочками текли и текли слезы, которые ему не от кого было скрывать.

2005

Загадочная улыбка женщины

1

– Кошка моя! – шепотом сказал Роман, который оказался в спальне у Инги как раз в ту ночь, когда ее мужа, Григория, не было дома. Все было «очень удачненько», по словам Романа. – Ты мой пушистый зверек!

Роман был напорист и нежен. Он брал, а Инга отдавалась, испытывая при этом невыразимое печальное возбуждение. Ну, почему, почему с Григорием она не испытывает ничего подобного!

Дочка спала в соседней комнате.

Роман был жаден и порочен, и Ингу тянуло к нему, отчего ее мучило чувство вины, смешанное с обидой на мужа, из-за обычности, пошлой тривиальности которого она млела от грубых ласк Романа. Надо же знать, как обращаться с женщинами, если уж ты решил жениться на одной из них, кстати сказать, далеко не последней по своим достоинствам. В том, что ее мучило чувство вины, она обвиняла мужа, и сейчас слегка мстила ему. В ее измене мужу был виноват и муж. Да, да. И в первую очередь. А как иначе?

Хочешь владеть такой женщиной, крупные груди которой раскачиваются в такт любому твоему желанию, потрудись, дорогой.

Ей было горячо и холодно, хорошо и плохо; она чувствовала себя очень сложной натурой, весьма содержательным существом, понять которое было дано, ой, как немногим. Единицам. Избранным единицам, которые представлялись ей в виде безликой роты. Чем больше, тем лучше. Их много, много, и никто ее не понимает.

– Ты любишь меня? – спросила она у Романа, который по-хозяйски развалился в двуспальной кровати на месте ее мужа.

Он засмеялся смехом, обидным для порядочной женщины. Потом запустил свою сильную и нежную пятерню в ее густые волосы, грубовато притянул к себе и неожиданно сказал на ухо такое, от чего Инга, по инстинкту приличной женщины, шарахнулась от него, но одновременно прикрыла глаза и, послушная другому инстинкту, слегка прильнула к волосатому упругому торсу. Отклеиться от упругих мышц мужчины было выше ее сил.

Когда она вела себя как порядочная женщина, Роман словно специально делал то, что явно выходило за рамки приличного поведения любовника, – но Инге это нравилось, несмотря на то, что она театрально протестовала. Правда, при этом он смеялся неприятным смехом. Неизвестно отчего, Инге это не нравилось, и она продолжала «строить» из себя порядочную, и в этом опять же присутствовала какая-то сложная фальшь. Букет противоречивых чувств терзал Ингу.

Секс с Романом был силовым и простоватым, она была покорной; ей казалось, что ее раскрепощенные, смелые позы представлялись ему унижающими ее, и во всей истории с Романом было много унижительного – если бы не его «телячья» нежность и предупредительность.

– Что с тобой, дорогая? – спросил Роман, когда увидел, что по щеке Инги игриво торопится крупная слезинка.

Инга не отвечала. Роман бережно обнял ее и стал поглаживать. Потом мягко поцеловал. Инга неожиданно для себя жадно всхлипнула, и Роман в ту же секунду сделал грубый мужской выпад. Совокупление было неистовым, и радостное, светлое чувство обволокло Ингу, когда они, задыхаясь, поглаживаниями благодарили друг друга за доставленное удовольствие.

Потом они просто лежали, держась за руки, как дети.

А потом Инга, неожиданно для самой себя, сказала:

– Завтра утром я уезжаю. Только не спрашивай куда.

– Хорошо, не буду спрашивать.

Интересно, улыбается он своей гадкой улыбкой или нет?

Улыбается, можно не сомневаться.

– Завтра у меня решающий день.

До этой минуты завтрашний день не обещал быть решающим, но сейчас Инге стало казаться именно так: завтра все решится.

Роман внимательно посмотрел на нее, не зная как быть: спрашивать или оставить в покое. Чего она действительно хочет?

«Все-таки он тонкий и тактичный», – отметила про себя Инга. «И поведение его в постели – тоже своего рода такт», – добавила она и обрадовалась, что способна объективно оценивать сложные моменты в запутанных отношениях людей.

– Что же решится завтра? – спросил Роман и тут же понял, что от него ждали вопроса. – Ведь твой муж еще двое суток будет в командировке.

– Ты ведь знаешь, что я измучилась с ним, – сказала Инга. – Мне тяжело его обманывать. Да, да. Вот ты женатый человек, Роман. Неужели тебе не стыдно перед женой?

Он рассмеялся.

– Я не обманываю себя, а значит, уважаю жену, – сказал он.

– Но ведь ты спишь со мной! – почти без наигранности возмутилась Инга.

– И не только с тобой, – улыбнулся Роман.

Инга знала это, но ей не нравилось, когда Роман говорил об этом спокойно, без утайки. Он готов был рассказать ей любые подробности. Значит, он и другим женщинам совершенно спокойно может рассказать о ней, об Инге. Сложность и «безысходность» их отношений если не пропадала, то ставилась под сомнение.

– Тебе, наверно, не понять, – вздохнула Инга.

– Где мне угнаться за тобой.

Вялая улыбка.

– Завтра я еду к своему давнему поклоннику, Мише.

– Вот это я одобряю, – сказал Роман и рассмеялся.

Странно: явно не глупый и тонкий Роман предпочитал в отношениях простоту, граничащую с сермяжной правдой, и даже ценил ее.

Это раздосадовало Ингу, и она рассказала ему, что завтра у нее судьбоносное свидание с вдовцом Мишей, который готов ее на руках носить, который ради нее способен на любое безумство. Бесцветная, серая жизнь с мужем представилась Инге в самом непривлекательном свете. Жизнь с обожателем Мишей обещала много новых ярких ощущений.

– Я думаю, тебе надо съездить к Мише, потом переспать со мной, а потом с чистой совестью и ясными глазами встретить мужа, – сказал Роман. – А выходить замуж за Мишу не надо.

– Ты неисправимый циник, – парировала Инга.

Роман пожал плечами.

В такие моменты ей казалось, что мужчины – грубые и нечуткие существа, недостойные женщин.

Роман же в такие минуты испытывал еще большее уважение к своей жене, еще больше презирая женщин вообще.

Инге было неприятно, что Роман и не думал ее ревновать. Не к мужу, так хотя бы к любовнику. Она ощутила на своих сосках мягкие губы Миши. Неужели мужчины так легко делят своих женщин? Но Роман не ревновал, и сложность их отношений, очевидная для Инги, опять пропадала, истаявала, ускользала.

– Ты не ревнуешь меня к Мише? – спросила Инга.

– Я ему завидую, ангел мой, – сказал Роман, запуская пальцы в волосы. Он еще только тянулся к ее уху, а низ живота женщины уже обдало сладковатым колким холодком.

– Когда я стану женой Мишки, мы не сможем встречаться.

– Почему? – вежливо поинтересовался Роман.

Инга знала, что он задаст этот вопрос и именно в такой дурацкой форме. Вот она, мужская сущность: ему и в голову не придет, что встречаются они только потому, что ей плохо с мужем. Не потому что она плохая, а потому, что у нее плохой муж. Может ли приличная женщина подумать о любовнике, о мужчине на стороне, если у нее все хорошо с мужем?

Никогда! Если у женщины есть любовник – это означает только то, что у нее плохой муж. Во всем виноваты мужчины.

Инга молчала и загадочно улыбалась.

Она отказалась встречаться с Романом завтра утром, перед поездкой к Мише, поэтому Роман задержался у нее далеко за полночь.

2

Поездка к Мише, другу детства, оказалась трогательной и волнующей. Начало прекрасного летнего дня слегка было омрачено тем, что Роман все же явился провожать Ингу на электричку и застал ее перед зеркалом даже более чем обнаженную – в одном белье. Он был в восхищении от нового нижнего белья, которое предназначалось исключительно для скромного взора Миши. Роман подвел Ингу к огромному зеркальному шкафу, медленно снял с нее белье и небрежно отбросил на ковер. Инга закрыла глаза и дальнейшее помнила смутно. Помнила только, что от зеркала ей уходить не хотелось.

Уже в электричке Инге показалось, что у нее появились основания не уважать себя: все-таки прыгать из одной постели в другую приличным женщинам, к которым она в первую очередь относилась, нелегко. Но потом настроение заметно улучшилось – беспричинно, что было вдвойне приятно.

К полудню стал собираться дождь. Нудно тянулись низкие темные тучи, отороченные рваной черной паутиной, ажурными клочьями свисающей по краям. Сплошная пелена туч напоминала Инге ее жизнь с Григорием – скучную и безрадостную.

Но вот хлынул дождь. Он хлестал и хлестал в окна электрички, и было даже немного не по себе, словно немилость погоды относилась именно к ней, к ее странному поведению.

А потом бледные обессиленные тучи истаяли и унеслись ввысь. В мире снова стало светло.

– Зайка моя! – сказал Миша, оторопевший перед белым атласом белья.

С Мишей в постели было не так хорошо, как с Романом. А главное – Миша как-то неубедительно сделал предложение (в тридцатый раз за полгода). Инге показалось даже, что он встречается с другой женщиной, покладистой и на все согласной. И она прямо спросила его об этом. Миша густо покраснел и замахал руками, отнекиваясь. Но это не развеяло подозрений Инги.

Домой она вернулась на следующий день, разбитая и усталая. Немного отдохнув, втянулась в хлопоты, уже всецело погрузившись в завтрашний день, основным событием которого была встреча мужа. Поймав себя на этом ощущении, Инга всплакнула, вздыхая о том, что некому оценить сложность ее натуры, такой чувствительной и непредсказуемой. Ведь никому, ни единой подруге, даже однокласснице Зинаиде, которая стала жутко добродетельной с тех пор, как на нее перестали обращать внимание мужчины, не расскажешь о том, что с ней происходит: превратно истолкуют, да еще тебя же и объявят блудницей. А Зинаида сначала выпросит все подробности, а потом начнет стыдить.

Слезы освежили ее. Честно говоря, захотелось, чтобы их осушил Роман своими жадными губами. Инга улыбнулась себе, своим глубоким тайнам, делающим ее жизнь похожей на роман, и опять переключилась на стирку и завтрашнее меню, не забывая тихо пожалеть себя и свою молодость, которую засасывала рутина.

Она очень хорошо знала, чем удивить мужа. Голубцы. «Вот это пища», – скажет муж, хватаясь за сметану и не в силах оторвать глаза от глубокой тарелки с дымящимися, плотно упакованными в просвечивающие капустные листья аппетитными сверточками, густо запорошенными мелко нарубленной зеленью, как будто дело именно в тарелке и сметане, а не в его искуснице-жене. Жалость вновь оживет в ее сердце, и сладко потянет внизу живота, где вчера дерзко хозяйничала рука, и не только рука, не знающего ни стыда, ни совести Романа...

Григорий приехал, как обычно, строго по графику. Все у него четко, размеренно, без боев. Вот только перед голубцами не может устоять. Сначала спросил, как дочь, потом губами бегло коснулся щеки. Поздороваться, собственно, забыл.

Инга почувствовала закипающее раздражение против мужа, которое заставляло ее уважать себя и освежало, как слезы. У нее в душе – гигантские космические бури, а этот мужлан ничего не замечает! Правда, привез изящную цепочку – точно такую же, которая была у ее подружки Татьяны, бывшей любовницы Романа. Цепочка соблазнительно сбегала к основанию прелестного бюста, и Роман просто пожирал глазами то ли украшение, то ли не очень впечатляющие формы Татьяны. Инга представила себе, как смотрелась бы живая и скользящая очаровательной змейкой цепочка на фоне ее пышной и упругой груди. В тот же вечер она обронила, что она без ума от одной безделушки, от цепочки белого золота, которая собиралась живыми капельками и тут же распускалась с искристым блеском.

Надо же: запомнил и привез. Точь в точь, как у Татьяны. Копия. Ну, никакого воображения, ноль фантазии.

– Спасибо, милый.

– Носи на здоровье, котик.

Раздражение не убывало, а нарастало.

– Есть хочешь?

– Угу.

Не «конечно», не «еще бы!», или «голоден, как пес», «жрать хочу», в конце концов, просто «да, дорогая», – ни за что на свете. Всегда и только – «угу». Просто родился с этим. Раз и навсегда.

Инге стало невыносимо жалко себя. Она села и расплакалась.

Григорий в это время возился в ванной. Он вышел в трусах (не таких плотных, как у Романа, фигура не позволяла, а в небрежно приспущенных, «семейных»), свежевыбритый – с брюшком, с мешками под глазами (много работал, это он умеет) и скучно уставился на жену. На столе ждали его голубцы, а тут жена неизвестно из-за чего плачет.

– Ты чего?

Этого «ты чего» Инга простить ему не смогла.

– Я ухожу от тебя! – неожиданно для самой себя заверещала она. – Ухожу! Сегодня же!

– Куда?

Руки опустились вдоль трусов, как по команде.

– К любовнику, у которого я была вчера! А перед этим я спала с другим любовником. Мне надо было почувствовать себя женщиной. Я же не агрегат для приготовления голубцов!

Инге хотелось, чтобы ее пожалели, приласкали, ощутили сложность ее переживаний, делающие ее женщиной уникальной и страшно, фатально привлекательной, которой можно все-все простить. Которой нельзя не простить, даже если речь идет о ее капризах. Тем более, если речь идет о дурацких капризах. Такому человеку и она бы все простила в этот момент. Даже «ты чего».

Но лицо Григория окаменело.

– Змея, – суховато изрек муж. – Вон из моего дома.

– Это я змея? – взвилась Инга, уязвленная в лучших чувствах. – Да я засохла с тобой в этой пустыне, которую ты называешь «мой дом». Ты растоптал мою жизнь!

Тут Григорий поступил весьма оригинально, удивив свою жену: он банально двинул ей – откуда только прыть взялась! – твердым кулаком под глаз. Она рухнула на пол, и ее накрыла волна отвратительного страха. И физического, и страха за то, что будет с ее благополучной жизнью дальше.

Она начала что-то кричать, а когда пришла в себя, то до нее дошло, что единственное слово, осевшее у нее в ушах, было «развод».

И, кажется, оно было произнесено тихим мужским голосом.

3

По совету Романа, она упала мужу в ноги и «призналась», что выдумала все, от начала до конца, про своих любовников. От начала – до конца. У нее были веские основания: загубленная жизнь. Ей хотелось, чтобы муж стал ревновать, обратил на нее внимание. «И все такое, – добавил Роман. – Всякие женские штучки».

При этом Инге хотелось, чтобы вся эта история заставила обратить на нее внимание Романа. Кто знает, может, ее сумасшедшее поведение заставит этого сердцееда уйти из семьи и предложить ей, Инге, руку и сердце. Жизнь, говорят, полна неожиданностей. Кто знает...

Но Романа цинично интересовало только одно: замять чужой семейный скандал, чтобы, не дай бог, пожар не перекинулся в «его дом». Все мужчины одинаковы. Жизнь разнообразит только то, что им попадаются разные женщины.

Муж отказывался верить тому, что в изобилии предлагала ему Инга. Она импровизировала вдохновенно и с большой выдумкой, уже почти сама поверив в то, что плела мужу. Слезы не сходили с ее печальных глаз. Она вдруг поняла, что имел в виду Роман под «всякими женскими штучками».

По совету Романа (сама она не могла соображать, по крайней мере, ей хотелось, чтобы Роман поверил хоть в это), она выглядела убитой и растерзанной, день за днем, неделя за неделей, хотя в душе была несколько растеряна, не более того. Роман сказал, что если она поведет себя правильно, то получится классическое «битый небитого везет». «Битые нуждаются в небитых, и наоборот: это позволяет первым сохранить достоинство, а вторым – по-прежнему презирать первых», – сказал Роман. И добавил: «Это самый распространенный вариант семейной гармонии». Инга посмотрела на него снизу вверх (она сидела, он стоял): она стала побаиваться мужчин, и Роман стал казаться ей вовсе не таким простым, каким казался раньше. Нет, вовсе не упругим торсом он привлекал ее внимание. Чем-то другим.

И действительно, через три недели она добилась извинений от мужа («Гриша, разве можно всерьез воспринимать то, что в истерике лепечет униженная и оскорбленная тобой женщина?»), еще через неделю Григорий стал оказывать ей небывалые знаки внимания. Правда, на следующее утро после того, как она впервые после примирения с чувством исполнила супружеский долг, она позвонила Роману и с интонациями порядочной женщины рассказала, как ей одиноко. Роман молчал, больше не предлагал встретиться. Инга звонила еще. Роман слушал ее и молчал. И только однажды на прямой вопрос, «чем я тебя обидела?», сказал:

– Я не могу понять, зачем ты это сделала?

– Что сделала? – растерялась Инга.

– Во всем призналась мужу. Зачем?

«Ага, вот оно», – сказала себе Инга. Есть то, чего мужчины никогда не поймут в женщинах. Никогда. Тут она впервые улыбнулась своей новой улыбкой, в которой сочеталось пре-

восходство с великодушием и чем-то еще, о чем она сама имела смутное представление, но знала, что лучше этого не знать. Теперь молчала она и почти физически ощущала, как Роман оторопел от новых значений ее улыбки. Когда-нибудь она улыбнется ему, и это будет точкой в их отношениях.

– Ну-ка, Джококонда, расскажи, как муж врезал тебе святым кулаком по окаянной шее. Опять этот противный ехидный смех. В тот раз она первой положила трубку.

Михаил отчего-то сам перестал звонить. Скорее всего, женская интуиция не обманула Ингу: у него появилась женщина. Конечно, это могла быть только такая женщина, о которой даже думать не стоило. Григорий был почти счастлив: Инга опять стала центром его жизни. Только однажды за ужином он, переборов неловкость, сказал:

– Знаешь, рыбка моя, что больше всего изумило меня в той истории, которая нас так сблизила? Я никак не мог понять, зачем ты мне все рассказала сама. Любовник – это я еще могу понять. И я бы простил это, если бы все нечаянно открылось. Но зачем признаваться во всем самой, когда никто тебя за язык не тянет – это выше моего понимания. Это... неприлично. Слава богу, это оказалось неправдой. Слава богу, ты на это неспособна. И знаешь, что является лучшим тому доказательством? То, что ты в приступе гнева упомянула двух своих любовников. Двух! Это совершенно неправдоподобно. Порядочная женщина и трое мужчин – это нонсенс. Я знаю тебя лучше, чем ты сама.

Инга улыбнулась, глядя в глаза мужу. Он первый отвел глаза. Он давно великодушно простил шалунью. Ох, уж эти женские штучки...

В долгих беседах с Татьяной, которой новый любовник подарил восхитительный браслет (у Инги был такой же, даже лучше, уже на следующий день), они не переставали удивляться примитивности мужской психологии.

– Ты представляешь, ни один из них не понял, как мне тогда было плохо! Им казалось, что у меня все было хорошо, представляешь?

– Забуди!

Татьяна безнадежно махала рукой в сторону мужчин и ворковала о том, какой замечательный друг есть у ее любовника. Возможно, Татьяна и перед другом не устоит, кто знает. Она же не святая. Инга, ужасаясь себе самой, уточняла:

– Он и вправду похож на Романа?

– Как две капли воды. Думаю, у них все похоже. Понимаешь? Только обаяния у Романа поменьше. Ну, вот поменьше, и все тут.

Инга покачивала головой. С некоторых пор она стала побаиваться то ли мужчин, то ли самой себя. Она пока не решила. Кроме того, образ жизни порядочной женщины имел свои преимущества. Голубцы – не самая страшная вещь на свете.

С другой стороны, мужу – лучшему на свете мужу! – на следующей неделе предстояла длительная командировка. Супруги будут в разлуке. Вот когда она улыбнется Роману, а, возможно, и тому, кто похож на него. Почему бы и нет?

Все было сложно, неоднозначно, и это ощущение собственной сложности умиляло Ингу. На губах ее блуждала загадочная улыбка.

07.08. 2004

Авария

1

Авария не была случайной.

Конечно – дождь, мокрый асфальт, придурочная барышня, лихо тормознувшая перед ним безо всякой на то причины, плохое настроение, спешка...

Конечно, здесь присутствовало стечение обстоятельств.

И все же авария была не случайной.

Он воспринял ее как первый этап возможного крушения, как начало грядущей тотальной катастрофы в жизни, и даже обрадовался тому, что начало было таким впечатляющим и в то же время шадящим. Все могло быть гораздо хуже.

А что, собственно, происходит в жизни?

А происходит то, что он, Человек Второй Половины Жизни, совершает бесконечные серии энергичных действий, смысл которых – бессмыслица, а направлены они – в никуда. Зачем ему сложные, запутанные отношения с Жанной, которые завели отношения с собственной женой в тупик, а отношения Жанны с ее мужем загнали в яркую, даже пылающую, стадию, имя которой развод?

Жениться на Жанне?

Это сумасшествие. Она может быть хороша только как любовница, как милая, но взбалмошная подруга, готовая в любой момент к рискованным приключениям. Не женщина, а таблетка с адреналином. Она может быть только дополнительной краской в жизни, специей, но сама по себе превращается в яд. Неужели это непонятно?

Понятно до скуки. В отношениях с этой броской, эффектной женщиной нет и не может быть интриги. Но вот она разведется – и тогда интрига завяжется сама собой. Она станет свободной женщиной, которую так добивался этот несвободный мужчина. И этот сильный настойчивый поклонник добился своего. Он ее пленил, взял ее в плен. Теперь что делать с пленной? Это накладывает на него известные обязательства согласно всем международным конвенциям, писаным и неписаным. Это понятно?

Понятно.

Наши действия?

А никаких действий.

Отлично. Рассматриваем и этот вариант. И что же получается?

Получается, что никаких действий – тоже действие, и черт его ведает какое по своей эффективности. Практически ядерное оружие по своим испепеляющим последствиям.

Тут бы самое время упрекнуть себя в действии-бездействии, однако, если честно, именно здесь просыпалось любопытство – и к себе, и к жизни.

Как бы это объяснить... Он стал не то чтобы преклоняться перед течением жизни, он просто стал замечать его. Он открыл для себя новое явление: течение жизни. Станным образом ощущение течения жизни стало заменять привычное ощущение смысла жизни. Смысл исчез, но его место не заняла бессмыслица.

Казалось бы, отношения с Жанной пагубно сказались на его отношениях с женой. Верно? Верно. Лично он не видел перспектив для развития отношений с супругой. Тупик. Казалось бы, самое время впасть в депрессию, затеять бесконечные изматывающие разборки и, эксплуатируя чувство собственной вины, попытаться сотворить какой-нибудь позитив. Все так делают. До первого инфаркта.

Увы, не хотелось ничего выяснять и ничего созидать. Вместо этого неожиданно нака- тывало тихое светлое настроение (оно чудесным образом рифмовалось с ощущением тече- ния жизни, которое, в свою очередь, было неотделимо от понятия катастрофа), и просыпалось любопытство: а что за тупиком? Что если тупик – всего лишь плавная линия горизонта? Что если и дальше будет легко и весело?

Вот он, мейнстрим: все плохо, хуже некуда – это и вселяет уверенность, что все идет правильно. Но что же впереди? Что-то же должно быть, однако. Не может же жизнь ограничи- ваться одним жалким тупичком. «Все вам бездну подавай», – одернул он себя, словно деше- вого пижона.

Из чувства приличия хотелось считать это любопытство нездоровым, было трудно ува- жать себя за него. Но он улыбался, как последняя сволочь, и продолжал делать вид, что не случилось ничего особенного.

Было любопытно, хотя и не верилось, что вся эта катавасия кончится добром. Он не то чтобы ждал катастрофы, но он бы не удивился, если бы она произошла. Не ждал ее, не приветствовал, но был готов к ней.

И вот – авария.

– Зачем вы так резко затормозили? – спросил он растерянную девушку с русыми воло- сами, которая, к его изумлению, вовсе не собиралась «включать блондинку». Она даже не включила аварийную кнопку.

– Это сложно объяснить... Мне показалось, я должна была сделать это. Зачем – сама не понимаю. Теперь муж убьет меня.

– Не волнуйтесь. Вам показалось – а платить за все буду я. Примите мои поздравления. По писаным правилам виноват ведь я.

– Я понимаю вашу иронию. Но я чувствую себя виноватой.

– Перестаньте. Не устраивайте цирк. Я должен был затормозить, и у меня были для этого все возможности. Просто меня занесло или, если хотите, я не справился с управлением. Так что виноват я. И не надо быть такой благородной. Мне и без вас тошно.

Он говорил все это, честно выражая словами то, что испытывал на самом деле, но в глу- бине души он чувствовал еще и обдающее морской свежестью течение жизни. Эта новая логика жизни делала бессмысленную аварию исполненной какого-то тайного, едва ли не прелестного смысла.

– Будем вызывать милицию? – спросил он.

– Милицию?!

– Ну, да. В таких случаях вызывают милицию, инспектора ГАИ, и он подтверждает мою виновность, а с вас снимает все грехи. И мужу не за что будет вас убивать.

– А вы?

– А что я?

– Вас накажут?

– Конечно. Отберут права. Но вам-то какое до этого дело?

– А если не вызывать инспектора?

– Меня бы это, честно говоря, устроило больше. Я бы оплатил ремонт вашей машины. И своей заодно. Если уж хотите быть благородной, соглашайтесь на этот вариант. Хотя если вызовете инспектора – я не буду в претензии. Это ваше право.

В ее изумрудно-серых округленных глазах красиво растекалась растерянность, удиви- тельно подходящая ее честному облику.

– Знаете что? Звоните мужу. Я с ним побеседую, – нервно проговорил он.

– Нет-нет, этого я делать не буду.

– Я объясню ему, что виноват я.

– Понимаете, он сказал, что если я сегодня возьму машину, то непременно попаду в аварию.

– Значит, он у вас пророк. Или – зануда. Неизвестно, что хуже. Зачем же вы взяли машину?

– Чтобы он не поехал к любовнице. А теперь кругом виновата я. Во всем виновата. И перед ним. И перед вами. И перед машиной, – добавила она без улыбки.

– Бросайте своего мужа, к чертовой матери. Пусть уходит к любовнице и забирает машину.

– Не могу.

– Почему?

– Я боюсь остаться одна.

– Понятно.

Девушка, которая только начала его интересоваться, вдруг оказалась самой обычной. Все эти до боли знакомые женские штучки: и хочется, и колется, и боюсь, и рыдаю от восторга... «Обрыдалась вся», – как говорит Жанна.

– Вот вам двести долларов. Боюсь, этого недостаточно. Но я возьму вам все убытки. Так мужу и передайте. А вот вам мои координаты.

Он подал ей простую визитку, оформленную строго и скупой, в стиле минимализма, который он предпочитал во всем: в одежде, в оформлении книг, в интерьере, в макияже своих подруг (Жанна всегда чуточку перебарщивает). Во всем. Даже в судьбе (красивая судьба, словно гениальный рисунок, всегда без виньеток и загогулин: исключительно скупые выразительные линии или зигзаги, сделанные не отрывая руки – от начала до конца, от звонка до звонка). На визитке была только совершенно необходимая информация, расположенная крайне удобно для того, кто тобой интересуется. Доктор наук. Профессор. Антон Павлович. Телефоны (домашний, служебный, мобильный).

– А меня зовут Вита.

– Очень приятно, Вита.

– Можно я скажу мужу, что вы мой любовник?

Очевидно, на лице Антона Павловича отразилось нечто такое, что заставило ее тихо рассмеяться. А он вдруг почувствовал, что авария в жизни этой женщины тоже была не случайной.

– Да не бойтесь. Я пошутила. Спасибо. Вы честный и располагающий к себе человек. С вами хочется иметь дело. Я вам позвоню.

– Имейте в виду: у меня уже есть любовница. И жена, само собой.

– А вот у меня никогда еще не было любовника, – сказала Вика, не опуская серо-зеленых глаз.

Антон Павлович отчего-то смутился.

Во всем, что они говорили, не было никакого смысла. Но было то, что великолепно укладывалось в понятие течение жизни.

2

Она позвонила на следующее утро.

– Мой муж приревновал меня к вам! – радостно сообщила она.

– Понятно. И в какую же сумму обойдется мне починка вашего семейного авто с учетом этого нового пикантного обстоятельства?

– Да ни в какую. Муж сказал, чтобы вы не смели больше попадаться мне на глаза. Он не потерпит рядом со мной порядочного симпатичного мужчины.

– Как прикажете. На чем же он собирается ездить к любовнице? Верхом на палочке?

– Он сказал, что практически бросил ее, любовницу.

– Примите мои поздравления.

– Но меня это уже мало волнует. Я вчера поняла, что в жизни есть мужчины, которые меня могут заинтересовать. Вчера весь вечер я улыбалась, потому что почувствовала себя свободной женщиной. Я так рада, что вы разбили мне бампер. Вдребезги.

– А также искрошил фару и помял крыло. Машину – в лоскуты.

– Да, и фару с крылом зацепили.

– Мне кажется, ваш великодушный муж вскоре передумает. Материальная сторона жизни, знаете ли, волнует нас не меньше, чем любовь. И я не отказываюсь от своих слов: я возьмущу убытки...

– Спасибо. Он не передумает. Он дорожит мной, я об этом как-то просто забыла. Такую дуру ему больше нигде не найти. Верная, хозяйственная, чувствующая себя виноватой из-за того, что он мне изменяет. Вы вернули мне мужа, то есть вернули мне чувство уверенности в себе, я хотела сказать. И даже капельку достоинства.

На него накатило ощущение полноводного течения жизни, и он неожиданно для самого себя сказал:

– Вам, свободной и уверенной, еще нужен любовник или эта вакансия будет занята мужем?

– У вас же есть уже любовница. Вы ее тоже бросите?

– Бросить любовницу не так просто, как представляется вашему наивному мужу. Лично я на этот счет не питаю иллюзий.

– Значит, если я стану вашей любовницей, вам тоже будет непросто от меня отказаться?

– Думаю, да.

– Что ж... Я согласна. А зачем вам еще одна любовница?

– Это сложно объяснить. Течение жизни...

– Я понимаю: все течет, все меняется, а если не меняется, перестает течь. Этот калейдоскоп с водопадами и хочется считать жизнью. Верно? Движение есть жизнь. От одной любовницы – к другой, потом к жене и так далее по кругу. Верно?

– Отчасти. Только тут дело не в мельтешении и суете; тут дело в ощущении своеобразного закона. Эрос и Танатос: перепады между этими полюсами и двигают жизнь. Их отношения и составляют суть закона.

– Какого закона?

– Эрос – жизнь, Танатос – смысл, как-то связанный со смертью... Вы будете первая, кому я сообщу о законе, когда мне удастся его сформулировать, если я вообще сочту необходимым делать это опасное и бессмысленное дело.

– Вы уже сформулировали свой закон.

– Разве?

– Конечно. Течение жизни: по-моему, все очень понятно. И вовсе не страшно. И не надо никаких Танатосов. Мужчины никогда не замечают своих самых главных слов и дел. Когда мы встретимся?

Они встретились на следующий день. Антон Павлович сказал Жанне, что у него возникли проблемы, связанные с аварией. Она очень переживала из-за того, что придется заплатить кучу денег неизвестно кому. Да еще ремонт своей машины...

Обрыдалась вся.

Она переживала так, словно деньги были ее собственные.

3

Антон Павлович честно признался себе: в его жизнь незаметно пришла любовь. Вита, молодая прелестная женщина, меньше всего подходила на роль любовницы, хотя по сути ею

и была. С ней хотелось получать удовольствие от чистоты отношений, от первозданной простоты жизни. Вся изматывающая сложность куда-то ушла, остался только радостный остаток с ароматом ромашки.

Течение жизни вынесло его на теплый сухой берег, где можно было нежиться на солнышке. Ласковый белый песочек, ленивые волны, груда фиников и рядом бунгало с тахтой посередине и с изображением Эроса в красном углу (нечто игривое и легкое в светлых окладах). И ни облачка тебе на горизонте. Штиль.

Спрашивается: за что?

Состояние покоя было настолько полным и глубоким, что хотелось считать его счастьем. Непонятно было только одно: почему же раньше этого не было в жизни? Что произошло, в конце концов? Вита не была какой-то исключительной женщиной; напротив, она была даже где-то заурядной, более того – простоватой. Не было в ней тонкости и сложности, которые так пленяли его в собственной жене; однако было в Вите именно то, чего, оказывается, ему так не хватало. Тонкость и сложность в женщине рано или поздно оборачиваются депрессиями и тупиками.

Что тут рассуждать? Дают – бери. Был большой соблазн относиться ко всему так, как относится сама Вита. В результате достигалось недостижимое: покой и комфорт. Замена счастьем? Боже мой, а почему не само счастье?

Почему бы ему не жениться на Вите?

Больше всего Антон Павлович боялся проблем с не очень тонкой и не очень сложной Жанной – не с женой, как ни странно, а именно с Жанной.

Он ошибся. Жанна встретила известие о том, что он собирается жениться на Вите, звонким снисходительным смехом, словно разбрасывала монеты вокруг себя. Сама же она сначала развелась, а потом повторно выскочила замуж так быстро и лихо (за человека со средствами, но без образования), что Антон Павлович невольно поморщился: грубые пируэты, все эти языческие танцы с саблями, его коробили, и больше ничего.

И слава богу: баба с возу, как говорится...

С женой все оказалось намного сложнее. Антону Павловичу казалось, что их брак фактически давно распался сам собой. Но жена рассуждала несколько иначе. Она считала, что Антон Павлович загубил ее жизнь.

– Тебе будет легче, если я останусь, дорогая?

– Да, легче, радость моя.

– Это каприз. Или садизм. Или садомазохизм.

– Нет, это жизнь. Впрочем, я тебя не виню. Я сама виновата. Подавай на развод.

Антон Павлович облегченно вздохнул, однако на развод подавать не побежал, испытывая нечто вроде приступа великодушия по отношению к жене.

Сложнее всего оказалось с мужем Виты, которого никто не принимал в расчет. Этот мужлан не давал развода. Он не хотел вникать в ситуацию и в принципе не собирался ничего понимать. Он тупо не давал развода, обещая ждать неверную супругу столько, сколько необходимо, демонстрируя какую-то дельфинью верность.

В конце концов, женатый Антон Павлович сошелся с замужней Витой, ушедшей от упрямого мужа.

Самое страшное, которое всегда из суеверия хочется назвать странным, произошло уже в начале медового месяца: он невольно стал думать о подруге Виты, Надежде, чем-то похожей на его «бывшую» жену. Надежда, стройная красавица со сбитым телом танцовщицы и гладко зачесанными темными волосами (была, была в ней какая-то надрывная «испанскость»: нос с горбинкой, блеск в глазах, порывистость в движениях), жила в гражданском браке с мужчиной, моложе ее на десять лет, и во всем умела разглядеть печальную сторону – светлую, но печальную. В этом было какое-то притягательное очарование, не замечать которое было проявлением

неуважения к собственной сложности. Диковатая простота Виты на этом тонком фоне, который еще вчера так выгодно подчеркивал достоинства и прелести неискушенной наивности, начинала раздражать.

Надежда сразу стала его завоевывать, ненавязчиво старалась попадаться на глаза, заводила разговоры о погоде и о сути всего земного, не отводила глаз, приходила в гости, приглашала в гости. Мужчина моложе ее на десять лет куда-то пропал, о чем Надежда сообщила с печальным смехом, исполненным грустной иронии. «Гарри исчез. Не сложилось...» В ее глазах появилось больше блеска, в движениях – еще больше сдержанной страсти.

Вита почувствовала этот его двусмысленный интерес – и стала не ревновать, а подталкивать к подруге. Возможно, так выражалась ее ревность. Судя по всему, она действительно испытывала чувство вины за то, что мужчинам рано или поздно хочется сбежать от нее.

И тут Антон Павлович ощутил первый укол смертельной скуки: все безнадежно возвращалось на круги своя, пугая глупой и нелепой предопределенностью.

Восхищение простотой Виты обернулась для него какой-то губельной неудовлетворенностью. Женщину не поменяешь, и мужчину не поменяешь. Женщина добывает мужчину, а мужчина добывает смысл. Вот и все, что было за дугой горизонта, обозначавшей начало петли.

Самым отвратительным было то, что Антон Павлович понял: он из последних сил держался за «течение жизни» как за соломинку. Он с удовольствием переложил ответственность за собственную судьбу на течение (зачем думать? кривая вывезет!), но оно оказалось иллюзией. Было ли оно? Просто проносились мимо часы, дни, годы. Он стоял на месте, словно заколдованный истукан, и течение не уносило его с собой. Все текло, но ничего не менялось.

Его потянуло к жене, которой не надо было ничего объяснять, с которой было просто плохо, отчаянно плохо, привычно плохо, но с которой интерес к жизни не пропадал, а переходил в иное – приключенческое? – русло. Может, и здесь все вернется на круги своя? Очень бы хотелось дважды войти в одно и то же ощущение течения.

Он не боялся сказать об этом Вите; чувствовал, и даже был уверен, что та втайне подумывает о возвращении к мужу (почему-то первое разочарование, как и первая любовь, очаровывает нас навсегда, а второе разочарование – унижает). Конечно, сначала она сделает большие глаза, как тогда, во время аварии. Минут через пятнадцать они уменьшатся, а еще через десять в них загорится любопытство. Надо будет лишь объяснить ей, что это нормально. Это будет несложно. Надо вернуть ей коварное чувство уверенности в себе, от которого до ощущения «течения жизни» рукой подать.

С легким сердцем он набрал телефон Надежды:

– Ты вчера сидела на диване напротив меня в своем дивном сарафане. Наверно, ты случайно раздвинула ноги. На тебе не было трусиков.

– Их действительно не было.

– Я тебя правильно понял?

– Боюсь, что да.

– Где и когда?

Со сложными женщинами, особенно с теми, которые уже успели оценить и вашу собственную искушенность, дающую вам право на мальчишескую ошибку, в кульминационные моменты следует разговаривать грубовато и решительно. Переть напролом. Сила солому ломает: природная простота в какой-то момент всегда оказывается предпочтительнее культурной сложности. А сложные натуры тянутся к простоте. К силе. К течению жизни. Женщина спешит обнажиться, мужчина торопится брать. Она догадывается: в слабости ее сила; он понимает: в силе его слабость. Не проявишь силу – это будет расценено как слабость; проявишь – поддашься слабости.

Однако не успел он положить трубку, как ему расхотелось видиться с Надеждой. Но и перезванивать ей, уже имеющей право с печальной слезой в голосе потребовать объяснений,

было выше его сил. Такая простая жизнь усложнилась до предела. И в этот темный миг почему-то стало казаться, что высшая простота, к которой вела вся эта высшая сложность, – это любовь. Может, он просто искал любви и не находил ее?

Может, это и есть закон жизни? Его нельзя выдумать, его надо выстрадать. Чтобы сформулировать закон, мало быть профессором, надо быть умным человеком, которому не очень-то везет в жизни.

Тут надо было пораскинуть мозгами. Думать – значит, цепляться за жизнь. Самому себе создавать течение. Грести. Плыть вместе с улетающими в вечность часами, днями, годами. Жить. Да, в этом что-то есть. Ему нужна не Надежда, а любовь. Это очень похоже на истину.

Но на новые мысли уже не было сил и энергии. Силы ушли на то, чтобы годами заставлять себя не думать. Отдаваться течению – значит, не думать. Вот она, роковая ошибка. Где-то что-то не сложилось.

Авария. Он сразу почувствовал, что она была не случайной. Это был противный звоночек – глухой удар гонга из-за горизонта – от Танатоса, обитающего в дельте реки Стикс. Алло! Тук, тук, вы еще не устали от жизни?

Служба смерти, завораживающая вас течением жизни, всегда к вашим услугам.

Декабрь 2006 – январь 2007

Два дня и две ночи

1

Почему-то они решили, что на эти два апрельских дня непременно уедут в другой город. Исчезнут из одного мира и материализуются в другом. Оба в одно мгновение почувствовали, представив каждый свое, что эти дни, оттененные ночами, могут стать золотым подарком сдержанной в отношении к ним Судьбы.

Эта идея пришла в голову ему. В ответ она улыбнулась, поблескивая глазами и ликуя лицом, и пожала ему ладонь своими длинными пальцами – тут же, впрочем, по привычке отстранившись. Забота о нем, о его репутации, желание бесконечно продолжать их запретный (по определению – кратковременный) роман диктовали необходимость этого болезненного трюка: время от времени демонстрировать отчуждение к человеку, которого она обожала. А он, не в состоянии привыкнуть к привычке все время быть начеку, как положено агенту, внедренному из серых будней в мифическую счастливую жизнь, реагировал, как всегда, нервно: по лицу его пробежала тень, потому что в сердце кольнул легкий холодок. Нет, никогда он не освоит в совершенстве эту подлую науку разумного лицемерия. Без которого, впрочем, их роман был бы невозможен (здесь последовал повторный холодящий укол).

Не успел он прийти в себя, как эта молодая, редкостно одаренная природой женщина, созданная исключительно для него, уже чутко теребила его ладонь, неразумно задерживая ее в своей руке значительно дольше положенного приличиями, давая понять, что она чувствует его состояние. («Какими приличиями?» – тут же по привычке огрызался он внутренним монологом, протестуя неизвестно перед кем и неизвестно по какому поводу.) На них неизменно оглядывались, стар и млад, словно по команде, что раньше его раздражало («Чего, спрашивается, пялиться, скажите на милость? Никогда не видели писателя с сединой в бороде, влюбленного в прекрасную читательницу?»), а в последнее время вызывало только усталую улыбку.

Уехать. Непременно уехать из Минска. Пусть на два дня (среду и четверг, что гораздо предпочтительнее субботы и воскресенья: праздник в будни – дважды праздник, особая прелесть), пусть в соседний областной центр (город должен быть немаленьким: в небольших провинциальных городках прилежные прихожане, высыпаящие на площадь перед храмом, часто единственной достопримечательностью их местечек, расстреливали их набожными глазами в упор), расположенный в двух-трех часах езды, но подальше от этих столичных приличий, допускающих отчего-то неприличные продолжительные разглядывания.

Стоит только принять правильное решение, как сама Госпожа Судьба, не допускающая особого баловства, начинает тебе любезно (при этом как бы нехотя, словно через силу) потакать. Прогнозы погоды оказались на редкость благоприятными: солнце, переменная облачность, температура плюс двадцать выше нуля. На два дня обещали райский климат. Муж Миланы (манерное, в сущности, имя, живущее как-то отдельно от нее, однако при близком знакомстве со стройной, неприступной женщиной оно начинало удивительно подходить ее мягкому, но принципиальному характеру) внезапно заторопился в командировку в Москву, будто его кто-то подталкивал туда. Да и сам писатель, Михаил Юрьевич, оказался на редкость не обремененным в эти дни разного рода обязанностями, которые опутывают всякого приличного человека на службе и в семье.

– В Могилев? – спросил он.

Она сжала его ладонь милыми пальцами, которые он так любил целовать (а она всегда стремилась перехватить его губы своими), и на мгновение озарилась внутренней подсветкой.

Их желания, как всегда, совпали до мелочей, и по лицу его вновь пробежала тень, потому что в сердце кольнул легкий холодок.

Они поселились не в гостинице, а в двухкомнатной квартире его давнего приятеля, человека, не задающего лишних вопросов, который укатил на эти дни в Минск, судя по всему, к подруге.

Они быстро обжились в незнакомой квартире, и у них как-то само собой образовалось свое пространство, свой мир вещей, удивительно не пересекавшийся с хозяйским, чужим. Своя полка в холодильнике, свои простыня с полотенцем, свое мыло, свои тапочки, предусмотрительно захваченные из дому, свой диван, широкий и удобный.

Михаилу Юрьевичу казалось, что он двадцать четыре часа, а потом еще двадцать четыре, будет целовать Милану и ни за что не выпустит ее из объятий. Однако получилось совсем не так, как он себе представлял; получилось совсем по-другому, нельзя сказать, лучше или хуже. Просто совсем по-другому. По-домашнему, но с ощущением небывалого праздника.

Обычно два-три (а то и четыре-пять: как повезет) часа, которые им отпускала скуповатая Судьба в будние дни, они, оставаясь вместе, проводили в постели, и им всегда катастрофически не хватало времени. Оно не бежало и не летело; время просто исчезало, приводя их в печальное изумление своей способностью превращать часы в мгновения. Сколько бы они ни шептались и ни молчали вместе, вцепившись друг в друга, словно их кто-то разлучал, ощущение было неизменным: одно мгновение. Все. Пора разбежаться.

Она закрывала глаза и уже начинала улыбаться, а он нежно набрасывался на нее, обрушивая жадные ласки на любимое тело, никогда при этом не торопясь, и даже с некоторым матерым расчетом. Он получал удовольствие, любясь тем, как она получает удовольствие, тонко и звонко откликаясь на каждую его импровизацию.

Боже мой! Какая это была женщина! Он не мог – потому что не хотел – толком объяснить ей, в чем же заключен секрет ее женской уникальности и прелести, ибо тогда пришлось бы сравнивать ее со многими другими, обобщать и расшифровывать свой немалый мужской опыт. Но этого делать не хотелось. Ему становилось неловко, и даже стыдно – возможно оттого, что она могла принять его чрезмерную искушенность, питающуюся, конечно же, по большей части разочарованиями (это подтвердит каждый честный дамский угодник), за желание произвести на нее впечатление веданием интимных секретов в подробностях, что само по себе вызывает уважение у женщин, особенно у неискушенных. Хочешь не хочешь, а опыт подталкивает к манипулированию женщиной. Он не хотел брать в союзники опыт; это было в каком-то смысле нечестно. У него был опыт и по этой части.

Сам себе он объяснял все просто: горько-сладкое знание помогло понять, чего же ему не хватало в отношениях с женщинами; и все, чего ему так мучительно не хватало, он обрел в отношениях с Миланой. Это сакральный опыт, которым весьма сложно делиться с женщинами; во всяком случае, делать это следует тактично. Вот честное кредо, за которое не стыдно перед любой женщиной, но которое можно приоткрыть только одной: мужчина, стремящийся обладать многими женщинами в поисках единственной, достоин счастья; мужчина, меняющий женщин ради процесса (которым всегда управляют его страхи и комплексы), достоин разочарования и одиночества. Единственная – это единственная, одна из очень и очень многих; надо потрудиться, поискать, износить железные башмаки и при этом не унизиться до дешевого суперменства.

Но одно дело объяснить себе это на словах, и совсем другое – внушить Милане губами, пальцами, телом и нежным шепотом, соскальзывающим с кончика языка в ее длинные русые волосы, пахнущие каким-то удивительным альпийским настоем. Наконец-то Михаил Юрьевич понял, какой аромат волос он искал всю жизнь (честно говоря, он даже не отдавал себе отчет в том, что он находился в поисках; а ведь искал, искал). Тонкий, с легкой карамельной горчинкой, возбуждающий именно отсутствием «тяжелых», «возбуждающих» запахов; никакого

Востока, ничего жгучего – ажур, казалось бы, отвлекающий от страсти. На самом деле – вот он, аромат страсти, от которого кружится голова.

Как растолковать ей маленькие чудеса, которые рядом с ней никогда не прекращаются?

Вот ее правая коленка, слева от него, слегка согнутая на весу. Что тут такого? Ничего. Все совершенно естественно. Однако он всегда искал белую гладкую ногу боковым взглядом (хотя всегда блаженно отдалял этот момент) и бесконечно изумлялся, когда натыкался взором на трогательно отведенное бедро: более умирительной картины он не мог себе представить.

А вот его благодарные усталые объятия: он обхватывает ее всю, лежащую к нему спиной – захватывает руками, коленями, животом, лицом. «Увеличиваешь площадь соприкосновения? Заграбастываешь все новую и новую территорию?» Именно за эти его слова, произнесенные ею таким тоном и за такой смех (лицо – вполоборота к нему) хочется обнять ее еще крепче, увеличивая площадь соприкосновения.

И именно в тот момент, когда он беззвучно шептал себе, скрывая слезы: «Моё, моё, моё...», она гибким движением развернулась к нему лицом (хватку рук и коленей пришлось слегка расслабить), крепко его обняла и твердым, совершенно не сентиментальным голосом выдохнула ему в губы: «Моё!»

Именно это, оказывается, должна была произнести его женщина. Жена произносила правильные слова, но другие, не те, которые нужны были именно ему. Он отреагировал на волшебное слово Миланы, как на пароль. Он узнал посланную ему Судьбой женщину – посланную с горьким, если не роковым, опозданием.

2

От двух дней и двух ночей, проведенных с его женщиной, Михаил Юрьевич, оказывается, ожидал многого. Но он не ждал, что на него обрушится такое изобилие убийственных впечатлений.

В первую ночь в Могилеве нежности было больше, чем страсти. Он обнял ее, она прислонилась к нему спиной и быстро уснула. А он не спал всю ночь. Сначала он боялся ее разбудить, потом просто слушал ее ровное тихое дыхание, наслаждаясь тем, что она рядом; а потом забрезжил рассвет: ночь пролетела, как одно мгновение.

Он не думал и не вспоминал. Просто в сознании высвечивались отдельные фрагменты, находившиеся между собой в какой-то странной связи. Все это походило на медитацию.

Ни с того ни с сего он вспомнил, как она уезжала к своей маме в Витебск (вот почему они никогда не были вместе в этом городе; возможно, они не будут там никогда), где ее уже ждал муж Алексей, образцово-верный, просто помешанный на ней. Как тяготит верность хорошего, ласкового, достойного во всех отношениях, но нелюбимого, человека, – тогда, когда вдруг появляется любимый, – Михаил Юрьевич знал очень хорошо. Милана позвонила ему и, захлебываясь в слезах, стала горячо, надрывно-тихим голосом говорить о том, что они не увидятся целую неделю, даже больше. Вечность. Это катастрофа, катастрофа. Он тут же с ужасом понял, что это действительно катастрофа, как он мог раньше этого не понимать!..

Через пять минут он уже сидел в такси, плохо соображая, что собирается делать в следующую минуту. Он плохо соображал, но, оказывается, точно знал, что собирается делать. Схватив свою женщину в охапку вместе с вещами, он повез ее к себе домой (жена, прекрасная читательница, одного возраста с Миланой, ждала его у тещи вместе с их с маленьким ребенком, сыном; что ты натворила, Судьба?).

– Ты с ума сошел, ты с ума сошел, – шептала Милана.

– Наверно, – спокойно соглашался он.

– До поезда ровно час. Уже даже меньше. Пятьдесят девять минут.

– Мы успеем.

– Успеет что?

В ее оживших глазах уже прыгали безумные зайчики.

– Все.

Они пришли в себя только тогда, когда до отправления поезда оставалась ровно одна минута. Она набрала номер мамы и, не моргнув глазом, наплела что-то о срочных, буквально неотложных делах, которые заставили ее опоздать на поезд (он, слушая легенду об утюге и компьютере, целовал ее живот, спускаясь все ниже и ниже и наслаждаясь ее женским запахом, а она, вытаращив глаза, отбивалась от него). «Это так не похоже на тебя, дорогая», – доносился из трубки встревоженный голос мамы. Михаил Юрьевич подумал, что легко бы нашел общий язык с мамой Миланы. Легко и просто. В сердце кольнул знакомый легкий холодок.

– Я возьму билет на следующий поезд и позвоню тебе. Алексею привет. Пока, мама. Извини. Ты что, я же чуть не закричала в трубку, я же щекотки боюсь!

От нежности до щекотки, как известно, неуловимое движение. Он не отрывался от ее живота, а она уже закрыла глаза и прерывисто дышала.

Разумеется, они опоздали и на следующий поезд.

Потом они выпили коньяку, потом чаю, опять коньяку – и она, глядя ему в глаза, сказала:

– Не хочу я никуда ехать. Хочешь, я останусь у тебя? Буду ходить за тобой, как верный песик.

Это мгновение, которое почему-то растянулось на долгие месяцы (да и сейчас еще продолжает длиться, разливаясь противно-сладким анестезическим холодком), он, судя по всему, не забудет никогда. Счастье и горе в одном букете, слитые настолько, что уже и счастья не хочется, и отказаться от него нет сил.

– Оставайся.

Он с ужасом думал о том, что если бы она решила остаться, он обреченно шагнул бы в эту грубо сколоченную западню Судьбы, принял бы этот ядовито-медовый пряник, и это бы погубило их обоих. Предать одну, чтобы любить другую...

Счастье, эта привилегия умных и порядочных людей, далеко не всегда зависит от желания, и даже воли, и даже самоотверженности мужчины. Устал быть ежеминутно умным и, следовательно, порядочным – прощай, счастье. С другой стороны, если Милана уедет, зачем ему самоуважение и умение ставить интересы других выше собственных, зачем ему перспектива донашивать брак (которая еще вчера казалась завидной перспективой наслаждаться жизнью вместе с молодой женой и сыном)?

– Не волнуйся. Что-то я заигралась. Извини. Проводи меня на вокзал.

И уже потом, после того, как она уехала (вошла в вагон, расположилась в купе – и ни разу больше не взглянула на него, а он, не отрываясь, гипнотизировал ее своим взглядом и шел, шел за отправившимся поездом), он вспоминал вкус ее губ, гранатовые бусинки твердеющих отзывчивых сосков на упругой груди и особенный запах всего ее тела, утомленного любовью.

С этими ощущениями, сладко отравляющими существование, он проводил старый год, встретил новый, пережил неделю, даже больше, каждый час восстанавливая, казалось бы, навсегда сгинувшие вместе с секундами, все новые и новые подробности их сумасшедшего свидания. Вновь мгновения разворачивались в нескончаемые часы, дни, недели. Если бы не чудные мгновения, жизнь была бы серой и скучной. Пустой. Есть только миг?

Прошлое незаметно перетекало в будущее – и он уже видел их вместе с Миланой в гостях у ее матери, обильно и с желанием угодить накрытый стол, даже ощущал вкус сочной отбивной, к которой он положил бы умеренно острый салат, верное средство осаждать охлажденную водочку.

И тут же он рисовал в своем воображении образ надежного, незатейливого, как сама жизнь, Алексея, и холодный укол в сердце становился одновременно жгучим. Новогоднюю медовую неделю молодые муж с женой должны были проводить нескучно. Именно из ревности

он в какие-то неурочные часы уделял внимание своей жене, удивляя ее кратковременными приступами страсти.

Что ж, счастье было так возможно – если бы он не устал от бессмысленного ожидания. Он перестал верить в то, что счастье возможно. Прельстился покоем и волей. И, как водится, был одурачен суровой Судьбой, у которой в запасе – скучная вечность, и которая бессовестно наслаждается игрой в кошки-мышки с людьми, коверкая им и так жалко отмерянный век. И ведь предвидел же все это, предчувствовал. Знал, что рискует, не обманывал себя. И винить себя невозможно: естественная человеческая слабость к лицу нормальному мужчине.

И потом: Миланы ведь вполне могло не быть. Что тогда? Разрушительное одиночество?

Или она неотвратимо должна была появиться, а он не уловил этот закон бытия, неподвластный самой Судьбе? Может, с небес все же обронили невнятные намеки?

Тогда – виноват...

Рассвет. Птицы засвистали так, словно хотели донести до всех весть о конце света. Он неловко шевельнулся, и его подруга быстро повернулась к нему, широко распахнув глаза. Остатки сна, словно паутинку, он смахнул с ее лица своей ладонью. Ни слова не говоря, приник к ее теплоте и проник в него, испытывая горькую нежность. Ее дыхание тут же сбилось, а его участилось. Стон, вскрик – и задержка дыхания; раскинутые руки и ноги, согнутые в коленях; ее способность самозабвенно отдаваться страсти довела его до исступления, придавая лесную силу его мужественности. Он запустил пятерню в ее волосы – и опять стон и прерванный вдох. «Девочка моя»: стон, вскрик – и задержка дыхания. Еще и еще, пока они не оказались на седьмом небе и не полетели оттуда вниз в потоке золотого дождя (у обоих надолго захватило дух), цепляясь за облака и жмурясь от близкого оранжевого солнца. Перепуганные птицы перестали свистеть, весь мир словно затаил дыхание, а они еще долго кутались друг в друга, увеличивая площадь соприкосновения душ.

3

Завтрак был долгим и неторопливым. Они смеялись и болтали. О чем?

Это выяснится тогда, когда он будет вспоминать эти мгновения, надежно спрятанные памятью в замысловатые сейфы-сундуки – как самое дорогое в жизни, то, что дается лишь однажды. Что-то связанное с душевным здоровьем, следствием витального катаклизма, и чувством зависти к самому себе за то, что удалось пережить такое. А ведь память не получала от него таких продуманных установок.

В чем дело? Он уже знает, что будет дальше?

В тот момент ему запомнилось только одно.

– Счастье есть, – сказала Милана, намазывая вишневый джем на свежайший батон, дразнящий обоняние густым ванильным духом (за батон и джем он слетал в ближайший продуктовый магазин, пока она принимала душ).

– Ты так любишь варенье?

– Не в этом дело. Счастье, оказывается, есть. Я была убеждена, что это выдумка писателей, боящихся посмотреть правде в глаза и дурачащих всех остальных слабаков, обитателей подлунного мира, из благих намерений, а оно есть. Понимаешь?

– Еще как.

– А что такое счастье?

– Не знаю, – сказал Михаил Юрьевич и рассмеялся несомненно счастливым смехом. – Наверное, видеть, как ты уплетаешь джем и не торопишься уходить от меня.

– А если я уйду?

– Тогда счастье кончится.

– Ну, хорошо. Я необходима для счастья. Это мне нравится. Меня это устраивает. А что еще надо для счастья?

– Чувствовать и понимать, что я – умный человек, не способный на подлость, – медленно проговорил он.

– Зачем?

– Затем, что у дураков счастья не бывает.

– Этого я пока не понимаю.

– А тебе и не надо этого понимать. Твое дело – лопать джем и смотреть на меня влюбленными глазами.

– Это – пожалуйста. Я вот глупая – и счастливая. По-моему, глупость счастьем не помеха.

– Не помеха, если тебя любит умный человек.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.